

А. Д. Васильев

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ИГР В СЛОВА

Официальные рецензенты:

Васильев А. Д. Цели и средства игр в слова

© Васильев А. Д. 2012

ВВЕДЕНИЕ

Слово – важнейшая единица языковой системы. Именно лексика аккумулирует разнообразные знания человека о себе самом и окружающем мире. Именно лексика, будучи подверженной различным экстралингвистическим воздействиям, способна, в свою очередь, формировать восприятие тех или иных реалий и стимулировать поведение людей.

Закономерно, что в трудах филологов довольно распространено понимание слова как «монограммы бытия» [Булгаков 1953: 35], «аббревиатуры текста, высказывания, мировоззрения, точек зрения, действительных или возможных» [Бахтин 1986: 316], «сжатого текста» [Руделев 1991: 70] (последнее положение наглядно подтверждается, например, сопоставлением левой и правой частей толкового словаря).

Глубинная, опосредованная связь между словом и действительностью несомненна. Неслучайной считается этимология славянского *věkъ (русское и церковно-славянское *вещь*), возводимая к индоевропейскому *uektos/*uktos 'сказанное, изреченное'; таким образом, вещь – это 'то, что можно назвать' [Трубачёв 1988: 9]. Иначе говоря, главная (номинативная) функция слова позволяет осуществлять многообразные отношения: психики человека с окружающей его материальной действительностью. При этом «словесный знак скрывает за собою самые различные оттенки выражения мысли (в значении *mens, mentis*), и не только символы, но также образы, понятия, мифы и т. п.» [Колесов 1995: 15].

Построение языковой картины мира (или ее коррекция) может происходить с помощью интенсивного использования слов и фразеологизмов, которые, формируя фон, одновременно являются (или становятся) ключевыми; употребление их с нарастающей частотностью заметно влияет на мировосприятие и мировоззрение носителей языка.

Поэтому среди функций языка следует особо выделить ту, которую исследователи иногда считают первичной и самой главной, а именно – функцию воздействия, или манипулятивную.

Проблемы, связанные с вербальным влиянием на индивидуальное и общественное сознание, могут изучаться на материале мифов и легенд, табу и эвфемизмов, колдовских заклинаний и религиозных проповедей, ораторских речей и художественных текстов, политической пропаганды и коммерческой рекламы и т. д., выступающих в качестве разнообразных воплощений вербальной магии. Конечно, используемые для воздействия на умонастроения и поведение социума отдельные слова, устойчивые словосочетания и словесные микроблоки обретают необходимую их заказчикам, творцам и трансляторам эффективность лишь при возможно более широком и интенсивном распространении с помощью средств так называемой массовой информации. Так происходят, в частности, «игры в слова, замешенные на дурной политике» [Трубачёв 2004: 72], в которых нередко фигурирует «пустота, порой замаскированная туманной мыслью при помощи слов с неопределенным содержанием» [Дорошевский 1973: 46], либо же за счет подмены слов (или лукавых изменений их исконной семантики) совершаются подмены понятий, функционально весьма значимые.

Осуществляемое таким образом мифотворчество имеет характер непрерывного, лишь постоянно модифицируемого в соответствии с обстоятельствами процесса. Миф вовсе не обязательно воспринимается его современниками и даже следующими поколениями как миф и далеко не всегда квалифицируется в этом качестве специалистами, в глазах которых мифологизированной оказывается обычно предшествующая эпоха или позднейшие представления о ней.

При поддержании определенной преемственности в методах конструирования мифов технические способы их трансляции могут существенно меняться (ср. расширение и совершенствование возможностей хранения и передачи информации с появлением письменности,

книгопечатания, звукозаписи, радио и телевидения, компьютеров и проч.), хотя они по-прежнему основаны преимущественно на вербальном общении.

Рассмотрению целей и средств упомянутых выше «игр в слова» и посвящена эта книга. Ее положения могут представить интерес не только для лингвистов и специалистов в некоторых других гуманитарных областях, но также и для более широкого круга читателей. Собственно, все носители языка в той или иной степени – и выступая в той или иной роли – являются участниками игр в слова.

ФЕНОМЕН ИГРЫ

Всякая игра что-то значит... «Ради чего» – в этих словах, собственно, самым сжатым образом заключается сущность игры.

Й. Хёйзинга

Информационная война – это целенаправленное обучение врага тому, как снимать панцирь с самого себя... В информационной войне жертва сама должна себя похоронить и еще поблагодарить за это.

С. П. Расторгуев

Вероятно, игра сопутствует человечеству на протяжении всей его истории: «наиболее заметные первоначальные проявления общественной деятельности человека все уже пронизаны игрою» [Хёйзинга 1997: 24].

Среди лексикографических толкований этого многозначного слова выделим некоторые – как наиболее интересные для нашего исследования. Ср.: *игра* – '...забава, установленная по правилам, и вещи, для того служащие' [Даль 1955, 1: 7] – и *игра* – ... 2) 'занятие, обусловленное совокупностью определенных правил, приемов и служащее для заполнения досуга, для развлечения, являющееся видом спорта'...; 7) 'преднамеренный ряд действий, преследующий определенную цель; интриги, тайные замыслы' [МАС₂ 1984, 1: 628].

Заслуживают внимания характеристики игры, предлагаемые психотерапевтом: «Игрой мы называем серию следующих друг за другом скрытых дополнительных трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом... Игры отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений... двумя основными характеристиками: 1) скрытыми мотивами; 2) наличием выигрыша. Процедуры бывают успешными, ритуалы

– эффективными, а времяпрепровождение – выгодным. Но все они по своей сути чистосердечны (не содержат «задней мысли»). Они могут содержать элемент соревнования, но не конфликта, а их исход может быть неожиданным, но никогда – драматичным. Игры, напротив, могут быть нечестными и нередко характеризуются драматичным, а не просто захватывающим исходом» [Берн 2002: 42].

Заметим попутно, что в отечественной православной традиции и сама игра, и ее участники оценивались сугубо отрицательно – как воплощения темных сил, противостоящих истинному христианству: *игра* – 1) 'игра, забава'. «Дияволя мудрованья, еже есть пиянства, *игры*, скрѣня, юродословье, смѣхъ». Панд. Ант., 297. XI в.*...; 2) 'ритуальные языческие песни, пляски, игры'. «А ты храмлящая о вѣрѣ научи и ноги текущих на *игры* въ церкви обрати» (Посл. черноризца Иакова). Макарий. ИРЦ II, 341. 1060 г. «Егда ли видѣши многи събирающесѣ к кощунником и к чяродѣемъ и к сатанинскимъ пѣснем и *играм*...» (Поуч. Ио. Злат.). Сл. и поуч. против языч., 194. XVI в.; ср.: *игралище* — ...3) 'игра'. «Стрѣльцы учинили бѣсовское *игралище*, прозваниемъ кобылку». ДАИ XII, 368. 1691 г. [СлРЯ XI – XVII вв., 6: 79-80]; *бѣсовский* — ... 2) 'языческий'... «И умножилось въ людехъ во всякихъ пьянство и всякое мятежное бѣсовское дѣйство, глумление и скоморошество со всякими бѣсовскими *играми*». АИ IV, 124. 1649 г. [СлРЯ XI – XVII вв., 1: 155].

Полагают, что длительному сохранению отрицательной окраски у слов *игра*, *играть* в истории русского языка способствовал именно лексико-семантический вариант 'игра, связанная с языческой обрядностью; пение с пляской при исполнении ритуального обряда' (А. А. Потебня, И. В. Ягич, О. Н. Трубочёв и др.): «Негативное отношение к игре – занятию несерьёзному, ненастоящему, даже богопротивному..., прослеживается и тогда, когда ... *игрой* называют обусловленные особыми правилами действия с объектами...» [Астахина 2006: 177]; лишь со временем (возможно, в первой половине XVI

в.) слова группы корня *игр-* постепенно нейтрализуются в оценочном отношении и утрачивают пейоративную окраску [Астахина 2006: 178, 185].

По-видимому, присутствие в играх элементов драматизма и нечестности (нарушения заранее установленных правил – ср.: «В игре не без хитрости (обмана)» [Даль 1955, 1: 7]), более или менее выраженных, объясняется желанием одержать над противником верх и получить выигрыш – в той или иной форме: «Теснейшим образом связано с игрою понятие выигрыша... Понятие *выиграть* появляется лишь тогда, когда в игре есть противник» [Хёйзинга 1997: 63].

Надежда на выигрыш (обретение материальных ценностей либо возможности морально торжествовать над побежденным противником – а зачастую также и того, и другого одновременно), несомненно, усиливает драматизм игры: «игра сделалась корыстной, стало быть, и злой» [Астафьев 1978: 212]. Тот же автор подробно вспоминает об игре в кол, «которая колуном врубилась в память, угрюмая, мрачная, беспощадная игра, придуманная, должно быть, еще пещерными людьми... Кто в эти «пряталки» не играл, тот и горя не видал!..» [Астафьев 1978: 213, 216]; потому-то «очень уж схожа давняя потеха с современной жизнью, в которой голишь, голишь, да так до самой смерти, видать, и не отголишься» [Астафьев 1978: 216].

Важность раннего освоения игр и правильного их выбора для дальнейшего бытия человека подчеркивает Э. Берн, говоря о их генезисе: «Любимые игры, будучи элементами его [ребенка] жизненного сценария, в конечном итоге определяют его судьбу, например, «вознаграждения», полученные в результате брака или деловой карьеры и даже обстоятельства его смерти» [Берн 2002: 53]. Это, в свою очередь, подтверждает справедливость парадоксального суждения: «Недооценка игры граничит с переоценкой серьезности. Игра оборачивается серьезностью и серьезность – игрой» [Хёйзинга 1997: 28]. Не говоря уж в связи с этим о спортивных играх с участием профессионалов, их значительных (иногда – весьма) гонорарах, вообще об индустрии большого спорта, выступающего и как часть культуры,

точнее шоу-бизнеса, напомним лишь хрестоматийный рассказ о том, как предприимчивый американский мальчик, тонко воспользовавшись простодушием и тщеславием своих сверстников, заставляет (точнее, может быть, склоняет) их выполнить работу, порученную ему, да еще получает от них за это солидное вознаграждение: «сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно труднее... Он понял бы, что Работа есть то, что мы о б я з а н ы ¹ делать, а Игра есть то, что мы *не* о б я з а н ы делать» [Твен 1978: 31-32].

А. П. Чудинов в своем фундаментальном исследовании современной метафоры отмечает, в частности, что среди доминантных моделей российского политического дискурса выделяется представление политической жизни как своего рода игры или спортивного состязания: «...Наименование *игра* используется в значении «преднамеренный ряд действий, преследующих определенную цель; интриги, тайные замыслы»... В политической речи метафоры обычно несут негативный прагматический потенциал: считается, что уважающий себя, свое дело и окружающих политический деятель должен быть искренним... Постоянно используются коммуникативные тактики «призыв к откровенности», «призыв к конструктивному сотрудничеству», которые совершенно не соответствуют практике использования «политических игр»... Авторы политических текстов стремятся перенести негативное отношение к нарушителям спортивных правил на нарушителей правил политической игры», которая «рассматривается как своего рода спорт, где необходимы строгие правила честного соперничества, где успех в значительной степени предсказуем, победа приходит к сильнейшему, хотя и бывают разного рода *неожиданности*» [Чудинов 2003: 121, 123, 127, 129].

1 Разрядка здесь и далее наша. – А. В.

Итак, *игра* в интересующем нас аспекте характеризуется следующими основными признаками: определенной социальной значимостью; стремлением к достижению некоей цели; наличием обязательных для соблюдения установок (правил) – но и вероятностью их нарушений; возможностью обрести выигрыш; неочевидностью (неявной мотивированностью) реализуемых замыслов; драматизмом самого хода игры и ее результатов для заинтересованных лиц – вольных или невольных участников, зрительской аудитории и др.; напряженностью, выражающейся зачастую во взаимном ожесточении соперников; существованием игрового поля (пространства); способностью восприниматься в социуме столь же серьезно и уважительно, как и любая другая деятельность людей, а отсюда – и долгосрочными (иногда – не сиюминутно обрушивающимися) последствиями игр для всех, вошедших или вовлеченных в сферу их действия; далеко не всегда позитивной оценочностью.

Вместе с тем, можно полагать, что в ряде случаев употребление слова *игра* – в том числе в произведениях политологов и проч. – заметно утрачивает метафорический характер. Вероятно, это происходит за счет и терминологизации, происходящей от доведения метафоричности до своей противоположности – буквализации.

Так, например, в значительной степени можно согласиться с мнением, согласно которому ситуация в перманентно и явно целенаправленно реформируемой России может быть квалифицирована как возникшая вследствие совокупного воздействия ряда факторов «неокочевая «цивилизация *игры*» (с точки зрения цитируемого автора, «Пятую мировую войну ведут не США, не сионисты и масоны, а нечто гораздо более страшное – новое сообщество человеческих мутантов, носителей духа «добывания трофеев», античеловеков. Мы, используя термин еврейского банкира Жака Аттали, считаем их новыми кочевниками, космополитической сетью и г р о к о в с историей. Это – крупнейшие финансовые спекулянты и владельцы массмедиа, которые делают своей силовой базой Соединенные

Штаты. Сам Аттали, создавая термин «новые кочевники», всецело их поддерживает и вообще глядит с восхищением на эту новую расу»² [Калашников 2003: 60]).

Очевидно, те или иные из вышеназванных признаков игры (не исключено, что зачастую – во всей их совокупности) присущи и тому явлению, которое именуют «языковой игрой». Следует заметить, что разнообразные варианты терминов этого феномена (о чем также будет сказано далее) дают возможность вновь убедиться в справедливости известных положений: «ничто языковое не чуждо терминам» [Котелова 1974: 61] и «научная терминология как продолжение народной тоже поневоле наделена метафоричностью» [Трубачёв 1992: 43]. Небезынтересно, что, подобно другим таким лексемам, существительное *игра*, выступая в качестве термина, продолжает оставаться и активной общеупотребительной единицей словарного состава. А это, на наш взгляд, свидетельствует о целесообразности его использования в функции компонента ряда составных терминов и устойчивости в этом статусе.

² Ср. эпизод американского фильма «День независимости» («The Independence Day»), в котором президент США «транслирует» мысли захваченного пришельца из космоса: «Они [инопланетяне] как саранча. Летают с планеты на планету всей стаей, а когда сожрут всё, что там есть, улетают». Впрочем, при глобализации «новые кочевники» вовсе не обязательно должны находиться на территории, которую они грабят (т. е. «осваивают»), невзирая на аборигенов и их интересы): это можно делать дистанционно – через мультимедийные сети и/или с помощью доверенных лиц из числа туземцев.

ИГРЫ В СЛОВА

Саму «игру» сделали возможной свойства, имманентно присущие языку как основному инструменту общения, познания человека и мира, передачи и хранения национальной ментальности. «Язык, посредством которого человек различает, определяет, устанавливает, короче говоря, именуется, то есть возвышает вещи³ до сферы духа. Играя, речетворящий дух то и дело перескакивает из области вещественного в область мысли. Всякое абстрактное выражение есть речевой образ, всякий речевой образ есть не что иное, как игра слов» [Хёйзинга 1997: 24].

Столь широкое понимание рассматриваемого феномена разделяется не всеми авторами. Ср.: «Операциональные механизмы языковой игры... являются отраженными механизмами функционирования языковой системы, реализуя стратегию намеренного отступления от формальных и семантических правил, заданных потенциями употребления и порождения знака в речевой деятельности» [Гридина 1998: 36]. Однако обоснованно считают также, что «высказывание без строгого следования норме увеличивает энтропию [текста], так как не проецируется на словарно закреплённый узус... Энтропия – это и возрастание роли интуиции в восприятии текста, а также установка на «языковую игру», ироничное повествование, каламбуры и мн. др. как способ иносказания (в этом случае энтропия – следствие того, что смысл формируется через включение в сознание воспринимающего того, что содержится в подтексте)» [Синельникова 2003: 20].

Согласно концепции Л. Н. Мурзина, следует считать наивысшим уровнем языка не текст, а культуру. Отправным пунктом умозаключений

3 Кстати, установлено, что «неслучайно слав. *věkь (чеш. věc, рус. - цслав. вещь) этимологизируется как и.-е. *uektos/*uktos 'сказанное, изреченное' ('вещь' – это то, что можно назвать), подразумевая в оппозиции то, чего нельзя назвать, неизреченное, т. е., видимо, высшие понятия» [Трубачев 1988: 10].

здесь является положение о свободе как непрременном атрибуте языка, так как «язык не может существовать в условиях несвободы своего употребления, функционирования, жизни, самосознания», а «свобода лишь там, где есть выбор... Но... выражения *свобода языка, степень свободы языка, свободный язык* и т. п., очевидно, содержат долю фигуральности, ибо фактический выбор делает носитель языка, а не сам язык. Язык как объективное явление лишь открывает перед нами возможность выбора. Язык определяет условия выбора... Язык свободен в той мере, в какой он вариативен... Система языка и норма существенно ограничивают его свободу» [Мурзин 1997: 127-130]. Таким образом, в свете этого языковая игра также может пониматься как некое нарушение или отклонение от системы и нормы языка, основанное на широкой (но не беспредельной) вариативности свободного использования языковых средств и воплощающее свободу языка (пусть и в её конвенциональном понимании).

Почти всеобъемлющ типологический реестр коммуникативных актов, приводимый Л. Витгенштейном в качестве конкретизированных иллюстраций языковой игры: «Термин «языковая игра» призван подчеркнуть, что говорить на языке – компонент деятельности или форма жизни. Представь себе многообразие языковых игр на таких вот и других примерах:

Отдавать приказы или выполнять их –

Описывать внешний вид объекта или его размеры –

Изготавливать объект по его описанию (чертежу) –

Информировать о событии –

Размышлять о событии –

Выдвигать и проверять гипотезу –

Представлять результаты некоторого эксперимента в таблицах и диаграммах –

Сочинять рассказ и читать его –

Играть в театре –

Распевать хороводные песни –

Разгадывать загадки –

Остричь; рассказывать забавные истории –

Решать арифметические задачи –

Переводить с одного языка на другой –

Просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молить»

[Витгенштейн 2003: 237].

Можно заметить, что такое представление о языковой игре весьма близко к характеристикам того явления, которое – как относительно устойчивые типы высказываний – было названо М. М. Бахтиным «речевыми жанрами»: «Богатство и разнообразие речевых жанров необозримо, потому что неисчерпаемы возможности разнообразной человеческой деятельности и потому что в каждой сфере деятельности целый репертуар речевых жанров, дифференцирующийся и растущий по мере развития и усложнения данной сферы... К речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики бытового диалога (причем разнообразие видов бытового диалога в зависимости от его темы, ситуации, состава участников чрезвычайно велико), и бытовой рассказ, и письмо (во всех его разнообразных формах), и короткую стандартную военную команду, и развернутый и детализованный приказ, и довольно пестрый репертуар деловых документов (в большинстве случаев стандартный), и разнообразный мир публицистических выступлений (в широком смысле слова: общественные, политические); но сюда же мы должны отнести и многообразные формы научных выступлений и все литературные жанры (от поговорки до многотомного романа)» [Бахтин 1986а: 250-251].

Подобные мнения по поводу сути, основ, а также характерных форм реализаций языковой игры высказываются и другими авторами. Например: считая, что «языковая игра (в максимально широком понимании термина) – это нетрадиционное, неканоническое использование языка, это творчество в языке, это ориентация на скрытые эстетические возможности языкового

знака», исходят из того, что «языковые правила носят нежесткий характер, и шаблоны, или модели, создают только основу, канву для деятельности говорящего» и что «те нарушения, отклонения от моделей, что допускает в своей речи человек, сами оказываются моделируемыми, они также сводимы к определенным образцам» [Норман 1987: 168, 170]; многочисленные примеры языковой игры, приведенные здесь, показывают, что она призвана вызывать преимущественно комический эффект либо выступает как разновидность «искусства для искусства» – «иногда и «просто так», для собственного удовольствия» [Норман 1987: 169].

Приведя ряд понятийно соотносительных терминологических сочетаний (языковая игра, игра с языком, игра слов, языковая эксцентрика, реализация людической функции языка), А. П. Сковородников ввиду желательности системного использования терминов стилистики считает целесообразным закрепить за некоторыми из них – иерархически расположенными – такие значения.

«Я з ы к о в а я и г р а – творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой / стилистической / речеповеденческой / логической нормы) использование любых языковых единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в том числе комического характера... И г р а с л о в – разновидность языковой игры, в которой эффект остроты достигается неканоническим использованием слов и фразеологизмов (трансформациями их семантики и/или состава). К а л а м б у р – разновидность игры слов, в которой эффект остроты (в основном – комической) достигается неканоническим использованием полисемантов, омонимов, паронимов, псевдосинонимов и псевдоантонимов» [Сковородников 2003: 796, 802].

Любопытно, между прочим, что лишь одно из вышеприведенных словосочетаний оказалось зафиксированным не только в специально-терминологической лексикографии, но также и в толковых словарях русского языка. Например: и г р а с л о в – 'острота или шутка, основанная на

однoзвучности или двусмысленности речений' [Даль 1955, II: 7]; и г р а
с л о в – 'остроумная шутка, основанная на употреблении одного слова
вместо другого или на подмене одного значения другим значением того же
слова; каламбур' [МАС₂, II: 628]. Видимо, это предпочтение не случайно: и в
обыденном (нелингвистическом) сознании именно слово выступает как
важнейший элемент языка.

СЛОВО КАК ИНСТРУМЕНТ ИГРЫ

Обратимся к тем особенностям слова как единицы языковой системы, которые, в совокупности с упомянутыми выше, делают его столь уникальным материалом, инструментом и востребованным атрибутом игры, концентрирующим потенциально высокую энергию.

Лексические единицы фокусируют в себе черты всех уровней языковой структуры; выполнение словами их главной функции – номинативной – обусловлено наличием у них лексического значения. Поэтому и возможны следующие характеристики слова: «Слово всегда глубинно-перспективно, а не плоскостно» [Лосев 1991: 62]. – «С л о в а с у т ь с и м в о л ы ... Слова суть вспыхивающие в сознании монограммы бытия» [Булгаков 1953: 26, 30]. – «Слова и формы как аббревиатуры или представители высказывания, мировоззрения, точки зрения и т. п., действительных или возможных. Возможности и перспективы, заложенные в слове; они, в сущности, бесконечны» [Бахтин 1986б: 316]. – «За словом и за его смыслом всегда стоит нечто большее – коллективный опыт народа, его дух, его подлинное величие ... Все прочие уровни языка манифестируются только через лексику» [Трубачёв 2004: 154]. – «... Слово – единственная единица языка» [Руделев 1995: 3].

Можно согласиться и с тем, что «слово – тот же текст, только обработанный, скомпрессированный и включенный в язык [что наглядно подтверждается, например, сопоставлением левой и правой частей статьи толкового словаря. – А. В.] ... Слово – не только преобразованный текст, это еще истоки совершенно новых, неожиданных текстов» [Руделев 1995: 3].

Кроме того, «в каждом слове, кроме понятия, заключены еще образ и символ» [Колесов 1999: 222]. Особое место занимают слова-символы, издревле прочно связанные с сакральной сферой общественного сознания; как полагают, примером этого может служить любое общее (т. е. родовое)

слово Писания или народной поэтики (Бог, солнце и др.): «подобные слова – свернутый мир, вынесенный из прошлого» [Колесов 1990: 28]. Ср.: «Что такое все христианское жизнепонимание? – Развитие музыкальной темы, которая есть ... догматика. А что есть догматика? – Да не что иное, как разросшаяся крещальная формула – «Во имя отца и Сына и Св. Духа». Ну, а последняя-то уж, несомненно, есть раскрытие слова $\omega\mu\omicron\upsilon\beta\sigma\upsilon\varsigma$. Рассматривать ветвистое и широкосенное древо горчичное жизнеописания христианского как разросшееся зерно идеи «е д и н о - с у щ и я», – это не логическая только возможность. Нет, и с т о р и ч е с к и именно так и было» [Флоренский 1989: 54].

Слово способно вызывать обильные – и при этом устойчивые ассоциации: «Мы убеждены, что события, о которых теперь напомним нам слово *школа*, тождественны с теми, которые были и прежде предметом нашей мысли...» [Потебня 1976а: 106].

В значительной степени подобные феномены свойственны, как считают, прежде всего (западно)европейскому сознанию номиналистического типа: наличие термина предполагает присутствие соответствующей идеи или явления [Колесов 2004в: 11-12]. В свою очередь, это позволяет не только конструировать нужные оценки словесно обозначаемого, но даже – при необходимости – наклеивать вербальный ярлык на заведомую пустоту. Ср.: «Гёте говорил: «Людам нечего делать с мыслями и воззрениями. Они довольствуются тем, что есть слова. Это знал еще мой Мефистофель: «Коль скоро надобность в понятиях случится, Их можно словом заменить» (цит. по [Бунин 1988б: 79]). – «У нас глубокая психологическая привычка искать за формой обычного для нее содержания. ... Если вы встретите осанистого старика с великолепной бородой, мудрыми бровями и репутацией крупного общественного или государственного деятеля – как трудно, как до жестокости тяжело будет вам признать, что перед вами просто старый дурак...» [Тэффи 1991: 396].

Может быть, при вербальном общении это происходит и из-за неспособности (или нежелания?) коммуникантов четко разграничить план содержания и план выражения речевого акта (в том числе и отдельного слова): «Выражение есть всегда синтез чего-то внутреннего и чего-то внешнего. Это – тождество внутреннего с внешним... Самый термин *выражение* указывает... на некое активное самопревращение внутреннего во внешнее... Выражение может быть символом» [Лосев 1991: 45, 48]. Иначе говоря, определенные слова как звукобуквенные символы сигнализируют и внушают адресату – еще раз подчеркнем, далеко не всегда склонному либо способному к анализу воспринимаемого высказывания («выражения»), – то, что считает необходимым адресант (например, владелец СМИ и глашатаи его интересов).

Большую роль в общении играет и «экспрессивный момент» высказывания, определяющий его композицию и стиль, то есть «субъективное эмоционально оценивающее отношение говорящего к предметно-смысловому содержанию своего высказывания ... Абсолютно нейтральное высказывание невозможно» [Бахтин 1986а: 278]; упомянутое субъективное отношение адресант и передает (более того: даже должен передать, в соответствии с собственными установками, полномочиями и/или социальными и иными обязательствами) адресату. Это можно рассматривать как совершенно объективную и универсальную модель речевого поведения; ведь «прагматический фактор пронизывает всю речевую деятельность человека и предусматривается как в элементарных высказываниях, имеющих чисто утилитарные цели (приказание, просьба), так и в сфере широкой социальной жизни, где тесно переплетаются узкопрактические цели повседневной жизни, и крупномасштабные социальные акции» [Колшанский 1990: 100]. Справедливо, что «воздействие через язык осуществляется не простым путем оценочных высказываний типа: «это – хорошо», «это – плохо», а различными языковыми обозначениями, которые содержат социально обусловленный оценочный компонент. Применение подобных

обозначений позволяет выразить оценки имплицитно, незаметно для коммуникантов [прежде всего, наверное, – для адресата. – А. В.] и вызвать у них соответствующее отношение и поведение. При этом имеется в виду не то воздействие, которое язык оказывает и распространяет сам по себе [все-таки, скорее всего, это делают носители языка. – А. В.], а то, что оценки и взгляды определенных социальных групп закрепляются в разных точках зрения на языковое употребление и в дальнейшем переносятся языком на специальное воздействие соответствующих социальных групп» [Матвеева 1984: 5-6].

Поэтому слово успешно выполняет функцию суггесторного воздействия, сила которого, как полагают, может быть сравнима с физиологическими факторами; «внушаемость посредством слова – глубинное свойство психики, возникшее гораздо раньше, нежели способность к аналитическому мышлению» [Кара-Мурза 2002: 84].

Оценку В. Гумбольдтом, который «замыкает мир в скорлупе национального языка», считают «стандартной, но всё же не совсем справедливой» [Комлев 2003: 95], однако при этом очевидным признают и «факт, что передача знаний, накопленных общественным опытом, может осуществляться главным образом через высказывания, т. е. в форме слов» [Комлев 2003:92]. И именно язык самым активным образом участвует в сложении «социокода – основной знаковой реалии культуры»; социокод удерживает в целостности и различии «фрагментированный массив знания, расчлененный на интерьеры мир деятельности и обеспечивающий институты общения» [Петров 1991:39]. И «абстрактная форма отражения мира в сознании человека выступает материально в словесной форме и конкретно – в сложной динамике своих связей в бесконечном речевом процессе» [Колшанский 1990: 46].

Положение о бесконечности речевого процесса, непрерывности речевого потока подразумевает и то, что «каждое высказывание – это звено в очень сложно организованной цепи других высказываний» [Бахтин 1986а: 261]; причем причинно-следственные отношения между ними, а также,

очевидно, вытекающими из них решениями и поступками, могут быть довольно разнообразными, как и формы, сроки и интенсивность возможных ответных реакций адресата на слова-сигналы адресата. Ими могут оказаться и непосредственная реализация действия – как выполнение понятого и принятого к исполнению приказа или команды; и молчаливое ответное понимание, которое остается таковым до какого-то момента: «рано или поздно услышанное и активно понятое откликнется в последующих речах или в поведении слышавшего. Жанры сложного культурного общения в большинстве случаев рассчитаны именно на такое активно ответное понимание замедленного действия» [Бахтин 1986а: 260]. Слово выступает как импульс поступка – пусть иногда и не сиюминутного.

На первый план, конечно, выходит вопрос о семантике лексем, используемых в манипулятивном акте коммуникации (информационно-психологическом выпаде, побуждающем к действию) в качестве ключевых: такие слова, которые способны перетряхнуть всю систему, заставить ее изменяться [Расторгуев 2003: 39]. Как ни парадоксально, но четко очерченные лексические значения подобных единиц могут быть и непонятны адресату. Тем не менее, они способны вызвать у аудитории желательную адресанту реакцию:

«Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно»

[Лермонтов 1970, 1: 342] (ср.: «...Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату... «Николенька, я тебе растолкую, ты уйди... Вы послушайте, мама-голубушка», – говорила она матери. Слова её были б е с с м ы с л е н н ы ; но они достигли того результата, к которому она стремилась. Графиня, тяжело захлипав, спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты. Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от

матери в том, что Сою не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей» [Толстой 1980, V: 303]).

Проблемы тождества слова и распознаваемости лексической семантики в процессе речевого общения продолжают оставаться весьма актуальными, несмотря на длительную историю их разработки. «Слово, взятое в целом, как совокупность внутренней формы и звука, есть прежде всего средство понимать говорящего, апперципировать содержание его мысли... Что касается до самого субъективного содержания мысли говорящего и мысли понимающего, то эти содержания до такой степени различны, что хотя это различие обыкновенно замечается только при явных недоразумениях [...], но легко может быть осознано при так называемом полном понимании. Мысли говорящего и понимающего сходятся между собою только в слове» [Потебня 1976а: 139-140]. Ср. литературно-художественные осмысления подобных диалогов: «... И Щеголев пошел рассуждать о политике... Названия стран и имена их главных представителей обращались у него вроде как в ярлыки на более или менее полных сосудах, содержание которых он переливал так или этак... Совсем страшно бывало, когда он попадал на другого такого же любителя политических прогнозов. Был, например, полковник Касаткин, приходивший иногда к обеду, и тогда сшибалась щеголевская Англия не с другой щеголевской страной, а с Англией касаткинской, такой же несуществующей, так что в каком-то смысле войны международные превращались в межусобные, хотя воюющие стороны находились в разных планах, никак не могущих соприкоснуться» [Набоков 1990, 3: 142-143]. – Ср.: «Как, товарищ, у вас работа среди женщин? – скороговоркой грянул столичный [ответственный работник] ... – Ничего, – добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой, – у нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу» [Булгаков 1989, 2: 319].

Подобные приведенным примеры наглядно иллюстрируют положения о том, что даже использование коммуникантами одного общего для них естественного языка не обеспечивает тождественности кода, поскольку

требуются еще и идентичность языкового опыта, и совпадение объемов памяти, и единство представлений о норме, языковой референции и прагматике. «Если добавить влияние культурной традиции (семиотической памяти культуры) и неизбежную индивидуальность, с которой эта традиция раскрывается тому или иному члену коллектива, то станет очевидно, что совпадение кодов передающего и принимающего в реальности возможно лишь в некоторой весьма относительной степени. Из этого неизбежно вытекает относительность идентичности исходного и полученного текстов» [Лотман 1996: 13 – 14].

Интерпретации семантики слов, например, актуального для той или иной эпохи политического лексикона, могут быть отягощены коннотациями, возникающими в зависимости от различных экстралингвистических (условно) факторов – социального статуса, культурно-образовательного уровня и иных индивидуальных характеристик реципиента. Это можно иллюстрировать, например, следующими эпизодами романа, где отражено восприятие таких лексем двумя персонажами – Катей Смоковниковой, вдовой блестящего столичного адвоката (К.), – и Анисьей Назаровой, бывшей крестьянкой, затем – бойцом Красной Армии (А.).

К.: «Она ничего не понимала в происходящем! Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов, например, *совден* казался ей свирепым словом, *ревком* – страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя (было такое происшествие в детстве). Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала: «Французский империализм с его мрачными захватными планами и хищническими союзами...», ей представлялся тихий в голубоватой летней мгле Париж, запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров... «Ну, какие же они империалисты», – думала Катя» [Толстой 1982, I: 294].

А.: «Она сидела, нахмуренная от внимания... Неприученный мозг с трудом впитывал отвлеченные идеи, – они, как слова чужого языка, лишь

частицами, искорками проникали к ее живым ощущениям. Слово «социализм» вызывало в ней представление чего-то сухо шуршащего, как красная лента, цепляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента ей снилась. «Империализм» был похож на царя Навуходоносора с лубочной картинки, засиженной мухами, – с короной, в мантии, окрашенной мазком кармина, – царь ронял скипетр и державу при виде руки, пишущей на стене: мене, текел, фарес... Но Анисья была трудолюбивая и упорно преодолевала эти несовершенные представления...» [Толстой 1982, II: 95-96].

Роль ассоциаций, подобных вышеприведенным, хорошо известна; не приближая реципиента к осмыслению лексических значений слов, они лишь играют роль некоего нимба; в других случаях не возникает и этого: ср. рассказ М. Зощенко «Обезьяний язык» 1925 г., малограмотные персонажи которого вполне уверенно – «вежливо», «небрежно», «интеллигентно» – употребляют «слова с иностранным, туманным значением» (вроде «пленарное», «кворум», «конкретно», «фактически», «минимально», «индустрия», «президиум» и т. п.), причем в составе штампов складывавшейся тогда официальной советской риторики.

Конечно, подобное легко объяснить низким культурнообразовательным уровнем основной массы носителей русского языка того времени. Любопытно, однако, что гораздо позже аналогичные пропагандистские формулы (но уже в период т. н. перестройки) высоко оценивались и некоторыми лингвистами.

Так, в одной из публикаций перестроечного периода после критики «темного языка бюрократов и догматиков, замысловатого и трескучего, составленного из клише и слов-паразитов», констатировалось возвращение русского языка «в лоно нормального использования и развития... Идет творение новой фразеологии, преодолевающей формализм и открывающей возможность прямого, демократического, откровенного обсуждения сложившегося положения, реальных дел и задач: *убрать завалы, искать развязки, прибавить в работе, нужны прорывы, усилить поиск, оздоровить*

общество, воспитывать словом и делом, стратегия ускорения, нестандартно мыслить, ускорение социального и экономического развития, нравственная закалка кадров, человеческий фактор. Все эти простые и честные, прямые выражения пробуждают творческое мышление, превращают самостоятельную индивидуальность в жизненную потребность людей... Даже неказистые сложения... (*самоуправление, самофинансирование, самокупаемость, ресурсосберегающий, трудосберегающий, высокотехнологичный, наукоемкий, природоохранный*) несут в себе заряд правды, момент истины, то есть то, что легло в основу перестройки» [Костомаров 1987: 3-5, 7]. Однако по истечении совсем непродолжительного времени стало ясно, что реальные плоды *нового мышления, творчески примененного прорабами перестройки с приоритетным учетом общечеловеческих ценностей*, оказались все-таки несколько иными, чем (может быть) предполагалось «не прогибавшимися под изменчивый мир». Впоследствии лексикографы оценили подобные «весьма посредственные штампы» как «негативный материал», который можно использовать при работе над Новым академическим словарем русского языка [Корованенко 1995: 42].

Следовательно, по-видимому, причина обаяния таких магически-манипулятивных словесных блоков заключается далеко не только в уровне образования или в характере профессиональной деятельности адресата.

«СЛОВО – ПОЛКОВОДЕЦ ЧЕЛОВЕЧЬЕЙ СИЛЫ»

«Слова языка ничьи», но «всегда есть какие-то словесно выраженные ведущие идеи «властителей дум» данной эпохи, какие-то основные задачи, лозунги и т. п.» [Бахтин 1986а: 282, 283], которые, как провозглашалось исторически недавно, овладев массами, становятся материальной силой. Эти лексемы сменяют друг друга по мере необходимости, определяемой их творцами и проводниками – современными жрецами и проповедниками (в первую очередь, наверное, – заказчиками и уполномоченными ими распорядителями). Особенно заметны подобные явления при радикальных политических, экономических, культурных и прочих трансформациях социума. Следует учитывать, что подобные слова и устойчивые словосочетания не просто манифестируют революционные катаклизмы, но и оказываются их импульсами и стимуляторами. Столь же важно иметь в виду специфику семантики таких слов и составных наименований: они, как правило, обозначают референты, либо заведомо отсутствующие в реальной действительности (ср. перифрастическое определение лжи в языке свифтовских гуигнгнмов: «утверждать то, чего нет»), либо воспринимаемые и оцениваемые разными носителями одного языка и их макрогруппами настолько различно, что это подчас заставляет усомниться в наличии обозначаемых явлений. Мощнейшие факторы, поддерживающие обращение этих слов в публичном дискурсе, – настойчивость штатных пропагандистов и иных распространителей семантических пустышек (чуть ли не парольно-фатического характера), с одной стороны; с другой – активно поощряемая вера в них аудитории, то есть совершенно некритичное, малоосмысленное отношение адресатов к навязываемым вербальным символам (ср.: «... Глупый наш народ Легковерен: рад дивиться чудесам и новизне...» [Пушкин 1978, V: 282]).

Понятно, что и восприятие, и оценки конкретных примеров описываемого лингвопропагандистского феномена могут варьироваться в зависимости от позиций наблюдателя-аналитика, которые, впрочем, не так

уж редко тоже меняются под влиянием причин не обязательно сугубо лингвистического толка; разнообразной бывает и используемая при этом терминология. Рассмотрим здесь только несколько случаев.

Так, например, предлагают называть «лексическими фантомами» «слова, в значении которых отсутствует денотативный компонент. Проще говоря, это та ситуация, когда слово есть, а предмета, который оно обозначает, не существует» [Норман 1994: 53]. Хотя цитируемый автор и говорит о фантомах мифологических (*русалка, леший* т. п.), литературных (*Бармалей, Дядя Степа* и т. д.), научных (*теплород* и проч.), но основное внимание (да и обличительный заряд) обращает на фантомы идеологические, которые, оказывается, «значительно более многочисленны (и опасны!). Это случаи, когда отрыв слова от денотата обусловлен идеологической деятельностью человека, разработкой той или иной социальной утопии, поддержанием определенных социальных иллюзий» [Норман 1994: 55]. Ясно, что, в полном соответствии с интеллигентскими умонастроениями тех лет, речь, конечно же, идет о лексико-фразеологических элементах компартийной пропаганды: «Если говорить конкретно об СССР, то социализм, который в течение 70 лет строился (и «был построен»), в значительной мере был социализмом на бумаге. Он обслуживался огромным количеством слов-призраков, за которыми в реальной жизни ничего не стояло (либо, что в данном случае то же самое, стояла их полная противоположность). В качестве примеров можно привести такие фантомы: *мир, равенство, братство; разоружение; диктатура пролетариата, социальная справедливость; слуги народа; развивающиеся страны* (а остальные страны – что, не развиваются?); *человеческий фактор; остров Свободы; Слава КПСС!; Народ и партия едины; Экономика должна быть экономной; союз нерушимый республик свободных; Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи; Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны* и т. д. и т. п. Специально подчеркнем: речь идет не просто об использовании в идеологических и политических контекстах отвлеченной лексики, но о

принципиальной оторванности данных номинаций от реальной действительности, об их «замкнутости» на себе (обусловленной тоже, можно сказать, своеобразным мифотворчеством)... Идеологические фантомы в опоре на реалии не нуждаются... Они представляют собой своего рода плетение словес, обретающее от бесчисленного повторения ... магическую силу» [Норман 1994: 55-56].

Собственно, это лишь одна из многих иллюстраций сугубо узкого – и как-то очень своевременного – понимания феномена. Его сущность следовало бы изучать на гораздо более разнообразном материале, а не ограничиваться тем, который в перестроечно-реформаторский период был обозначен как самая доступная мишень, причем попытки поразить ее не только свидетельствовали о новейшей благонадежности авторов, но и предлагали некое научно-лингвистическое оправдание и обоснование развернутых экспериментов и трансформаций. Внезапное слаженное прозрение пандемического характера («послушать иных многих, так просто жалко делается людей: чуть ли не все изнывали под игом тоталитаризма, диктата, цензуры...» [Трубачёв 2004: 141-142]) выросло в продолжительную кампанию, крайности которой признавали даже некоторые ее активисты: «...Последние годы перестройки показывают, что именно радикалы зачастую лишают своих оппонентов права на «инакомыслие», а жесткие возгласы с пеной у рта на иных ультраперестроечных митингах слишком похожи на уже известный человечеству призыв толпы: «Распни его!». То же порой происходит и в науке, и все мы – не без греха (в том числе и сам автор книги...)» [Горбаневский 1991: 186]. Усилия по разоблачению и искоренению тех лексико-фразеологических черт русского языка, которые в совокупности были удостоены ярлыка «советский новояз», получили долговременную инерцию: ведь и чуть ли не до сих пор «описания языка тоталитаризма в монографиях, научных и научно-популярных статьях вызывают у определенной части «лингвистов-пассионариев» желание бороться (опять!), обличать, громить остатки ненавистной социальной системы и ее языка»

[Мокиенко, Никитина 1998: 6]. Может быть, колоссальные затраты энергии на производство безопасного пафоса и не дают многим специалистам заметить сегодняшние эволюции общественно-политического дискурса. А ведь известно, что «во всей истории литературных (или стандартных) языков мы видим примеры того, как класс, переживающий эпоху своего господства, уступая свою позицию новому, идущему ему на смену классу, передает последнему... и языковую традицию. Стандартный язык, таким образом, как эстафета, переходит из рук в руки, – от одной господствующей группы к другой, наследуя от каждой из них ряд специфических черт» [Поливанов 2001а: 331].

Кажется, явно преднамеренно, но столь же (с лингвистической точки зрения) и неоправданно «упускается из виду другой аспект изучения: имеет смысл не только противопоставлять, но и пытаться увидеть то общее, что присуще русскому литературному языку советского и постсоветского времени. Это общее – принадлежность литературного языка, языкового стандарта массовой культуре. Советский и постсоветский периоды истории литературного языка – это периоды развития литературного языка массовой культуры» [Романенко 2005: 116]. Тем более, что, как показывает тщательный анализ образцов советской словесной культуры, образ ратора – ее адепта и проповедника – характеризовался категорией партийности, адекватно доминирующим ценностям воплощавшейся в вербальной магии того периода: «это проявление действенности знака, основанное на принципе его мотивированности. Знак воспринимается как мотивированная модель вещи, поэтому в речевой практике они отождествляются... Правила обращения со знаками и вещами тоже отождествляются. Знак становится более суггестивным, чем информативным» [Романенко 2003: 222; также 74-79 и др.] (это присуще и последующему времени), а в условиях приоритета документной коммуникации возникает и документная герменевтика, интерпретирующая имена как вещи [Романенко 2003: 226]. Собственно, это довольно традиционный феномен: «Слово есть самая вещь, и это

доказывается не столько филологической связью слов, обозначающих слово и вещь, сколько распространенным на все слова верованием, что они обозначают сущность явлений. Слово, как сущность вещи, в молитве и занятии получает власть над природою» [Потебня 1976а: 176].

Нельзя оставлять без внимания ни несомненную преемственность тенденций речевой коммуникации в пределах одного языка, ни – в то же время – почти (?) повсеместную их распространенность в типологически разных языках и в условиях различных социально-политических систем. Достаточно вспомнить хотя бы о *political correctness* – «политической корректности» (переводят также как «культурная корректность», «коммуникативная корректность»), сконструированной и культивируемой в США и в полном соответствии с практикой глобализации экспортируемой повсюду.

По мнению С. Г. Кара-Мурзы, «правильный» (видимо, «политкорректный», судя по приводимым примерам) язык Запада создавался – и продолжает совершенствоваться – следующим образом: «Из науки в идеологию, а затем и в обыденный язык перешли в огромном количестве слова-«амебы», прозрачные, не связанные с контекстом реальной жизни. Они настолько не связаны с конкретной реальностью, что могут быть вставлены практически в любой контекст, сфера их применимости исключительно широка (возьмите, например, слово *прогресс*). Это слова, как бы не имеющие корней, не связанные с вещами (миром). Они делятся и размножаются, не привлекая к себе внимания, – и пожирают старые слова. Они кажутся никак не связанными между собой, но это обманчивое впечатление. Они связаны, как поплавки рыболовной сети, – связи и сети не видно, но она ловит, запутывает наше представление о мире. Важный признак этих слов-амеб – их кажущаяся «научность». Скажешь *коммуникация* вместо старого слова *общение* или *эмбарго* вместо *блокада* – и твои банальные мысли вроде бы подкрепляются авторитетом науки. Начинаешь даже думать, что именно эти слова выражают самые фундаментальные понятия» [Кара-Мурза 2002: 90].

Отметим, что выбор метафорического именованя в данном случае весьма точен: амеба – существо не только простейшее (в роли лингвоментального элемента), но и аморфное (как и слово, не имеющее строго окончательных, завершенных семантических очертаний), а часто – и паразитирующее (на индивидуальном и общественном сознании – и в качестве непродуктивной частицы языковой картины мира).

Почти аналогичные наблюдения делались и на материале других языков: «Самым, вероятно, страшным врагом разговорного английского является так называемый «литературный английский». Сей занудный диалект, язык газетных передовиц, Белых книг, политических речей и выпусков новостей Би-би-си, несомненно, расширяет сферу своего влияния, распространяясь вглубь по социальной шкале и вширь в устную речь. Для него характерна опора на штампы – «в должное время», «при первой же возможности», «глубокая благодарность», «глубочайшая скорбь», «рассмотреть все возможности», «выступить в защиту», «логическое предположение», «положительный ответ» и т. д., когда-то, может, и бывшие свежими и живыми выражениями, но ныне ставшие лишь приемом, позволяющим не напрягать мысль, и имеющие к живому английскому языку отношение не большее, чем костыль к ноге [Оруэлл 1989а: 332]. – «Меня вызвали в военное министерство, опросили и внесли в список на случай национальной опасности ... Всё лихорадочно подготавливалось к национальной опасности. В этом темном министерстве слово «война» не произносилось, на нем лежало табу; нас должны были призвать, если возникнет «национальная опасность» – не военная смута, которая есть акт человеческой воли, не такие ясные и простые вещи, как гнев и расплата, нет, национальная опасность – нечто являющееся из глубины вод чудовище с безглазым ликом и хлещущим хвостом, которое всплывает со дна морского» [Во 1974: 484].

Кроме того, употребление слов-амеб – одно из слагаемых престижности речедеятеля, залог его жизненного успеха (особенно в современном понимании) и высокого статуса (во всяком случае, владеющего набором

слов-амеб трудно упрекнуть в нонконформистском вербальном поведении: он – такой же, «как все», соблюдает установленные правила игры в слова). «Слова-амёбы – как маленькие ступеньки для восхождения по общественной лестнице, и их применение дает человеку социальные выгоды. Это и объясняет их «пожирающую» способность. В «приличном обществе» человек обязан их использовать» [Кара-Мурза 2002: 90]. Ср. пример воспроизведения одного из характерных лексических фрагментов культурно-речевой ситуации начала 20-х годов XX в. – в реплике персонажа, который «про совесть чего-то не помнит», зато «может угодить любому начальству» и, по-видимому, способен сделать удачную служебную карьеру: «Вы скажите *конкретно*: чего я напорол? – взъярился Зайцев. – *Конкретно* скажите...» Оно тогда только входило в моду, это слово «конкретно», пришедшее в быт от политики, от яростных митинговых речей. Не всем еще ясен был его точный смысл, но почти все хотели его произносить. И Зайцеву нравилось это слово...» [Нилин 1990 : 494 – 495]. В сегодняшнем российском словоупотреблении приблизительно таковы *эсклюзивный, креативный, позитивный, элитный, гламурный и продвинутый* – индикаторы «продвинутости» адресанта, т. е. его соответствия самым современным критериям поведения, причем не только речевого (почти парольную функцию в официозе в то же время выполняют *инновационные технологии, амбициозный* – как мелиоративное [!], *оптимизация* – когда имеется в виду нечто прямо противоположное, и проч.).

Говоря о «модных словах, или словах-метеорах», отмечают, что они не появляются в одиночку, а влекут за собой другие подобные не только в тексте и абзаце, но даже в одной фразе; «такие речевые обороты приобретают характер эпидемии... Примитивизация стиля и обеднение выбора слов создают видимость языкового комфорта и ... фатально снижают культурно-интеллектуальный уровень общения» [Комлев 2003: 107]. Скажем, основные причины повального распространения иноязычных заимствований в современной русской речи объясняют либо необходимостью выразить

нечто новое, либо «обезьяньим пристрастием самозванных «элит» к самолюбованию» [Колесов 2004в: 206] (ср. там же: «А если ... человек в состоянии повышенного комфорта и безделья превратился в обезьяну? Тепло, обилие пищи, все удобства под рукой – евростандарт... Сегодня на переход в обезьянье царство претендуют многие лощеные джентльмены» [Колесов 2004в: 39]).

ВЕРБАЛЬНАЯ МАГИЯ

Весьма интересны случаи (вовсе не редкие) отсутствия лексического значения у слова либо составного наименования, причем отсутствия программируемого и преднамеренного. Иначе говоря, коммуникативная ценность таких языковых единиц должна быть равной нулю, но в культурологическом отношении и они становятся значимыми. «Полный отказ от разумного смысла – уже характерный признак языка жрецов и оракулов у первобытных народов, языка, порою впадающего в совершеннейшую бессмыслицу» [Хёйзинга 1997: 140]; ср.: «Глухо стала ворчать она [панночка-ведьма] и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло вспыхивали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания» [Гоголь 1952, 2: 185].

Й. Хёйзинга, характеризуя язык магических построений, вещаний оракула, колдовских заклинаний, называет его «лирическим»: «...Лирика [в очень широком смысле] в наибольшей степени пребывает в первоначальной сфере игры... Поэт наиболее приближается к наивысшей мудрости – но и к бессмыслице. ...Сама сущность лирики состоит в том, что она вырывается за пределы сковываемого логикой разума» [Хёйзинга 1997: 140].

Впрочем, «хоть это и безумие, но в нем есть последовательность» [Шекспир 1960, 6: 53]. Таким образом по-своему логично организован «заумный язык»; ср.: «Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов... Рассказ есть зодчество из слов ... [Зангези:] Пойте все вместе за мной! Гоум. Оум. Уум. Паум. Соум меня И тех, кого не знаю. Моум. Боум. Лаум. Чеум. – Боум! Бим! Бам!» [Хлебников 1986: 473, 482], с последующей авторской дешифровкой; «*Выум* – это изобретающий ум... *Гоум* – высокий, как эти безделушки неба, звезды, невидные днем. У падших государей он берет выпавший посох. *Го. Лаум* – широкий, разлитый по наиболее широкой площади, не знающий берегов себе, как половодье реки. *Оум* – отвлеченный, озирающий все кругом

себя, с высоты одной мысли... *Чеум* – поднимающий чашу к неведомому будущему. Его зори – чезори. Его луч – челуч. Его пламя – чепламя. Его воля – чеволя. Его горе – чегоре. Его неги – ченеги» и т. п. [Хлебников 1986: 483].

См. также следующее теоретическое обоснование этих изощрений: «Г о в о р я т , что стихи должны быть понятны. ... С другой стороны, почему заговоры и заклинания так называемой волшебной речи, священный язык язычества, эти «шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу» – суть вереницы набора слогов, в котором рассудок не может дать себе отчета, и являются заумным языком в народном слове. Между тем этим непонятным словам приписывается наибольшая власть над человеком, чары ворожбы, прямое влияние на судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара. Им предписывается власть руководить добром и злом и управлять сердцем нежных ... Волшебный язык заговоров и заклинаний не хочет иметь своим судьей будничным рассудок» и проч. [Хлебников 1986: 633-634].

Конечно, возможны и иные оценки таких экспериментов, например: «... Хотят сбросить бремя слова как воплощенного смысла, ринуться в непроглядную ночь звука ... Но в этом и коренятся главные недоразумения и фиаско, ибо все-таки хотят говорить, не хотя слóва, его низвергая в дословный хаос звуков ... Футуристы правы: заумный, точнее доумный язык есть, как первостихия слова, его материя, но это – не язык... Это такое хвастовство хаосом...» [Булгаков 1953: 42].

При этом некоторые нововводимые элементы общественно-политической лексики и фразеологии неоднократно также рассматривались и оценивались как выполняющие исключительно магическую функцию. Это относится, в частности, к сложносокращенным словам советской эпохи. Конечно, следует предварительно заметить, что распространение явления аббревиации в русском языке специалисты приурочивают еще к дореволюционному периоду, когда многочисленными были названия синдикатов (Продуголь, Ростоп, Продаруд, Юротат, Продамет, Лензото и др.), а также сокращения устойчивых военно-профессиональных

именований, актуализированных во время первой мировой войны (вроде *дегенрум* – «дежурный генерал армии», *штабад* – «адъютант штаба», ГАУ – «Главное артиллерийское управление» и т. п.) [Лексика 1981: 201-202]. Однако процесс аббревиации чрезвычайно активизировался особенно после октября 1917 г.; еще раз скажем, что некоторые (по крайней мере) современники этих событий усматривали в советских аббревиатурах черты вербальной магии. Ср.: «*Чека, цик, ревком* и огромная масса других, не менее диких сочетаний, совершенно невразумительных для непосвященных: ... «всем губпотелькомам *цекапот*», *наркомпочтель*. В наше время нельзя взять в руки газету или брошюру последнего времени, прочесть объявление или вывеску, чтобы не натолкнуться на десяток, а то и сотню подобных магических слов» [Баранников 1919: 77] – и: «...Иные могут похвалиться еще и тем, что теперь «куются» совсем новые слова, например, все эти богомерзкие *совдепы, викжели, земгоры* [между прочим: «Земгор», объединенный комитет Земского и Гор. союзов. созд. 10. 7. 1915 для помощи пр-ву в орг-ции снабжения рус. армии. Ведал мобилизацией мелкой и кустарной пром-сти. Окт. рев-цию встретил враждебно, в янв. 1918 упразднен декретом СНК». – СЭС 1983: 458 – А. В.] и под. ... Образуются новые манекены слов. Однако (и это мистически есть самая тяжелая сторона дела), такие слова-манекены становятся в а м п и р а м и , получают свою жизнь, свое бытие, силу. Образуется целое облако таких мертвых слов-ла р в , в а м п и р о в , которые сосут кровь языка и служат черной их магии. Таков о к к у л ь т н ы й с м ы с л этого сквернословия» [Булгаков 1953: 32]. Заметим, что и в послесоветское время аббревиация по-прежнему продуктивна.

По-видимому, если «слова-амёбы» (в понимании С. Г. Кара-Мурзы) характеризуются отсутствием связи с конкретной реальностью и минимальной, вплоть до нулевой, семантической валентностью, то симулякры (в терминологии Л. Н. Синельниковой) – «результат трансформированной реальности», хотя и уже трансформированной

посредством симулякров: «Реальность трансформируется разнообразными способами, в числе которых языковые средства занимают едва ли не ведущее место... Результатом симулякризации общества... является уменьшение числа субъектов влияния» [Синельникова 2003: 216]. Еще раз подчеркнем высокую степень преемственности таких социолингвистических феноменов – вне зависимости от типа государственно-политического устройства, во многом ими порожденного и ими же обслуживаемого: «особо живучи и неистребимы политические симулякры ... «Химерические конструкции» тоталитарного прошлого спокойно перекечевали в демократическое настоящее, что дает основание говорить о симулякрах как инвариантных признаках языка власти. *Радикальные социальные преобразования, сотрудничество со всеми здоровыми силами...* Новомодный политический лексикон продолжает культивировать мнимые денотаты, разрывать, отдалять друг от друга вербальный и предметный мир (достаточно посмотреть на многообразие контекстов употребления и коннотаций слов *лоббировать, цивилизованный, коррупция, популизм* и мн. др. или попытаться с некоторой степенью точности определить содержание понятий *экологически чистый продукт, либерализация цен, новый формат*)» [Синельникова 2003: 221-222].

В качестве не менее адекватного определения для таких «лингвистических фокусов политиков» [Осипов 2000: 211] – скорее всего, изобретаемых их подручной службой – можно предложить обозначение **мифоген**, поскольку с помощью интенсивного внедрения слов, словосочетаний, словесных блоков, лишенных денотативной основы и виртуализирующих действительность, порождаются новейшие мифы, которые, в конечном счете, лишают индивидуальное и общественное сознание способности к полноценной самостоятельной ориентации, всецело подчиняя его воле мифотворцев, транслируемой через все подвластные им каналы.

Российская перестроечно-реформаторская речевая практика в этом отношении предоставляет внимательному наблюдателю весьма обширный

иллюстративный материал. Например: *человеческий фактор* (кстати, наиболее чуткие и предусмотрительные отечественные лингвисты незамедлительно изобрели *человеческий фактор в языке* – в языке, творимом, используемом и изучаемом человеком); *общечеловеческие ценности* (почему-то им никак не соответствуют коренные интересы России и ее народа); *стратегия ускорения* (не успевшая стать даже тактикой); *новое мышление* (результаты его то ли неосмысленного, то ли слишком по-новому обдуманного кем-то применения очень хорошо известны); *стабилизация экономики* (принципиально уже вряд ли возможная); *равноправное партнерство* (изначально неосуществимое); *мировое сообщество* (обычно имеются в виду одно-два государства, иногда – чуть больше); *оптимизация бюджета* (постоянное снижение финансирования образования, здравоохранения и других жизненно важных сфер); *социальная норма* (непонятно как установленный минимум расходов электроэнергии); *монетизация льгот* (резкое ухудшение материального положения множества и без того небогатых граждан); *правовое государство...*

БЕЗ СЛОВ

Вполне естественно, что речевой поток нельзя назвать абсолютно недискретным – по крайней мере, в частных его монологических и диалогических проявлениях: возникают паузы, как вынужденные и обусловленные, так и произвольные, спонтанные, но во многих случаях способные быть весьма эффективными.

Иначе говоря, информативно и эмоционально значимым становится само отсутствие высказывания (в том числе – единичного словесного знака), что по-своему тоже может влиять на поведение участников коммуникации, отражать и выражать их умонастроение и предрасположенность либо непредрасположенность к тем или иным действиям, образу поведения. Ср. классическое: «Н а р о д *безмолвствует*» [Пушкин 1978, V: 280].

Своеобразная, но при этом несомненная коммуникативная ценность молчания и его роль в языковой игре кристаллизовались во фразеологизме *играть в молчанку* – п р о с т . 'молчать, уклоняясь от разговора' [МАС₂ II, 1982, 2: 294]; р а з г . и р о н . 'уклоняться от прямого, откровенного разговора; отмалчиваться' [Федоров 1995, II : 270].

Специалисты рассматривают подобные явления в разных аспектах; соответственно этому варьируется терминология.

Так, с точки зрения риторики, умолчание – «прием, состоящий в таком построении высказывания, когда часть его смысла передается не словами (не вербально), а подтекстом, с помощью намека. ...Предмет намека не ограничен тематически и может касаться любого обстоятельства, события, лица и т. д.» [Сковородников 2003: 725].

Однако в более широком аспекте, при сопоставлении молчания с теми речевыми действиями, отрицание которых и предполагает наличие самого молчания, возможно его комплексное осмысление – а) как отказа от определенного речевого действия, б) как социально оцениваемого речевого жеста, в) как лакуны, требующей или не требующей заполнения, г) как духовного, социального и пр. состояния общества – что в совокупности

может позволить «получить некий культурологический портрет эпохи» [Данилов 1998: 40] (точнее, наверное, один из его фрагментов).

Предполагают, что «молчание – своеобразная речевая реальность, имеющая свою цель, план выражения и план содержания», а поэтому, как ни парадоксально, «молчание является намеренным коммуникативным актом, имеющим нулевой план выражения, но тем не менее несущим значение. Незначимое молчание не фиксируется ни в языке, ни в текстах. «Словами молчания» характеризуется ненормативное положение дел. ... Молчание ... является нулевым речевым высказыванием, имеющим семантику и прагматику» [Радионова 2000: 179, 182].

В связи с этим следует говорить об актуализации феномена «нулевого знака». Так называют «значимое, обретающее самостоятельную функцию и семантику отсутствие в рамках определенного текста какого-либо объекта или действия, необходимость наличия которых строго предписывается теми или иными социальными установлениями (правилами) или контекстом. Иными словами, отсутствие объекта в контексте, неотторжимой характеристикой которого он стал на протяжении определенного этапа его функционирования, в рамках которого воспринимался в качестве его обязательного компонента. При этом факт обязательности закреплен в сознании языкового коллектива, контактирующего с этим контекстом. Семантика нулевого знака может не уступать по своей роли и информативной насыщенности семантике материально выраженного знака в традиционном понимании этого слова» [Шунейко 2005: 87].

Можно сказать, что не только возможность, но необходимость молчания как имплицитного, невыраженного – и всё же текста – предельно сконцентрированно формулируется в философическом «Silentium!» Ф. И. Тютчева. Почти век спустя, в 1920 г., тютчевское напутствие было доведено до совершенного абсурда поэтом Р. Роком, автором «Декрета о ничевоках поэзии»: «Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте!» (цит. по [Душенко 2006: 412]).

Ср. позднейшее ироническое осмысление подобного применительно к музыкальному творчеству как изобретение принципиально нового направления «тишизм» – намеренное неизвлечение звука из музыкального инструмента – в романе Вл. Орлова «Альтист Данилов».

Весьма возможно, что это – реминисценция эпизода из произведения А. Моруа: «В мире творятся немыслимые безумства. В английских газетах сообщалось о концерте тишины, который дал однажды некий безвестный пианист. Шумная реклама сделала свое дело – в день концерта зал был полон. Virtuoz тишины садится за рояль и играет, но поскольку все струны сняты, не раздаётся ни единого звука. Люди в зале косятся друг на друга. Каждый ждёт, что сделает сосед, и в результате вся аудитория сидит затаив дыхание. После двух часов гробовой тишины концерт оканчивается. Пианист встает и кланяется. Его провожают бурными аплодисментами. На следующий день виртуоз тишины рассказывает эту историю по телевизору и в заключение признаётся: «Я хотел посмотреть, как далеко простирается человеческая глупость: она безгранична» [Моруа 1989: 522 – 523].

Такой художественно-изобразительный прием, как преднамеренное отсутствие части текста, в мировой литературе использовался неоднократно.

Так, по мнению Ю. М. Лотмана, неоднократные пропуски строк в «Евгении Онегине» были «существенным элементом создаваемого П[ушкиным] нового типа повествования, построенного на смене интонаций и пересечении точек зрения, что позволяло автору возвыситься над субъективностью романтического монолога» [Лотман 1983: 166].

Этот же прием активно и постоянно используется в СМИ, правда, с некоторыми вариациями: может отсутствовать информация о каких-либо событиях, имевших место в действительности, и/или об их реальных участниках; из дискурса СМИ могут быть исключены те или иные ассоциативно продуктивные лексико-фразеологические единицы, что может существенно корректировать мировоззрение аудитории. Ср.: «Придворный географ вместе с историком должны были представить обстоятельные

сообщения об этой стране [вызвавшей гнев их повелителя. – А. В.]. Они оба согласились на том, что Джиннистан – прежалкая страна, без культуры, просвещения, учености, акаций и прививки оспы, и даже, по правде говоря, вовсе не существует. А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приключиться ничего худшего, как не существовать вовсе» [Гофман 1991 : 232-233]. – «Этот вид искажения информации [*умолчание*] открывает еще большие возможности для манипуляции, нежели прямая ложь» [Кара-Мурза 2002: 241].

СЛОВО И МИФ

Исходя из того, что «всякое абстрактное выражение есть речевой образ, всякий речевой образ есть не что иное, как игра слов» [Хёйзинга 1997: 24], Й. Хёйзинга предлагал обратиться к мифу, «который тоже есть образное претворение бытия, только более подробно разработанное, чем отдельное слово. С помощью мифа люди пытаются объяснить земное, помещая основание человеческих деяний в область божественного. В каждом из тех причудливых образов, в которые миф облакает всё сущее, изобретательный дух играет на грани шуточного и серьезного»; то же относится к области религиозного культа: «Раннее общество совершает свои священнодействия, которые служат ему залогом благополучия мира, ... – в ходе чистой игры в самом прямом смысле этого слова. В мифе и культе зачинаются, однако, великие движущие силы культурной жизни: право и порядок, общение и предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия, учёность, наука. И все они, таким образом, уходят корнями в ту же почву игровых действий» [там же].

Справедливо, что «сейчас в науках о культуре и в исследованиях о культуре, советской в частности, принято трактовать миф как искажение, извращение реальной картины мира (подлинно научной); или как примитивную донаучную форму сознания; или как заблуждение, обман» [Романенко 2003: 220]. Подобные трактовки и интерпретации отечественными мыслителями, и особенно руководителями значительного и значимого периода истории, и не только собственно российской, но мировой, в общем-то, неудивительны: в их поведении есть своя логика – логика отступников. Кстати, любопытно, что до сих пор не получили широкой огласки случаи возврата в государственную казну дивидендов, ранее полученных прорабами перестройки и чернорабочими реформ за их прежнее активное участие в строительстве коммунизма и пропаганду соответствующих идей; равным образом деятели искусств (шоу-бизнеса), ныне известные как стойкие антикоммунисты, по каким-то причинам не

возражают, когда их публично представляют, например, как «народных артистов СССР» (не именуемого в таких случаях «бывшим»)... С другой стороны, в процессе этой перманентной кампании как будто не замечается сотворение новых мифов (в том числе и о современности), ничуть не более соответствующих действительности, чем какие-нибудь голливудские «байки из склепа».

Очевидная сложность и весьма относительная возможность одозначной и адекватной квалификации понятия «миф», вероятно, стали причиной вариативности мнений ученых об этом феномене. Ср.: «Обыкновенно полагают, что миф есть басня, вымысел, фантазия. Я понимаю этот термин как раз в противоположном смысле. Для меня и миф – выражение наиболее цельное и формулировка наиболее разносторонняя – того мира, который открывается людям в культуре, исповедующим ту или иную мифологию. <...> Словом, миф есть наиболее реальное и наиболее полное осознание действительности, а не наименее реальное, или фантастическое, и не наименее полное, или пустое» [Лосев 1993: 772-773]. – «Что такое творчески данное и активно выраженное самосознание? Это есть *слово*. В слове сознание достигает степени самосознания... Слово есть не только понятая, но и понявшая себя сама природа... Миф не есть историческое событие как таковое, но он всегда есть *слово*...» [Лосев 1991: 133-134]. «Слово всегда глубинно-перспективно, а не плоскостно. Таков же и миф. Миф или прямо словесен или словесность его скрытая...» [Лосев 1991: 62] – «...Богатый и можно сказать – единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое» [Афанасьев 1988: 50, 39]. – «Словесный знак скрывает за собою самые различные оттенки выражения мысли (в значении *mens, mentis*), и не только символы, но также образы, понятия, мифы и т. п.» [Колесов 1995: 15].

Образно описывая реалии современной России, в том числе – и культурно-речевую ситуацию, В. В. Колесов замечает: «Культура обычно определяется как информационно-мифологизированное поле сознания и

подсознания. Сегодня это поле захвачено и перепахивается чуждой культурой другой цивилизации, засеивается сорняками, заболачивается и окисляется с особым усердием... Нынешний мир интеллигенции виртуален: в действительности, в явленности своих проявлений нет ни культуры, ни самой интеллигенции. Культура и идея представлены в идее, идеальны. Сущность без явления, – миф ... Сущности нет – остается одна идея, или ... миф» [Колесов 1999: 214-215, 223] (здесь же приводится ряд примеров, позволяющих верно оценить успехи сегодняшнего россиянского-псевдоинтеллигентского мифотворчества, имеющего своими корнями по преимуществу импортный номинализм: «...Если существуют термины типа «фашист» – значит фашисты где-то рядом, их нужно искать, и обязательно отыщешь. В этом интеллигент [? – А. В.] и представляет себе формы политической «борьбы»: искать противника по терминам-кликхам, приписывая ему, быть может, собственные свои пороки» [Колесов 1999: 216]. Ищите – и обряцете... По той же самой номиналистской логике, иногда и от обратного: в Москве существует какое-то «антифашистское движение» «Антифа» (пока еще неизвестно кем инспирированное и финансируемое), а раз есть движение с таким названием, значит, в России есть и фашисты (точнее, тот самый фантомный «русский фашизм»), а вот если бы их не было, то не было бы антифашистского движения, и т. д. ...

Известны и другие определения, например: «Миф – обобщенное представление о действительности, сочетающее и нравственные, и эстетические установки, соединяющее реальность с мистикой. То есть это всегда представление в значительной мере иллюзорное, но в силу своей этической и художественной привлекательности оказывающее большое воздействие на массовое сознание. ...Мифы ... становятся частью традиции и играют важную роль в легитимации общественного строя в идеократических государствах. Однако миф... и в современном обществе не утратил своего значения как важной формы общественного сознания и представления действительности» [Кара-Мурза 2002: 205].

ПРАВИЛА ИГРЫ

Как известно, игра вполне может быть нечестной; это несомненно относится и к игре слов, хотя и понимаемой все-таки не так безбрежно-широко, как это делал Л. Витгенштейн. Более того: она может быть одинаково нечестной для обоих (или всех) ее участников. Такое вполне возможно, если по их согласию (пусть молчаливому) будут установлены определенные правила. Ср. следующую градацию вербального конфликта: «...Мы ссорились по книжке; есть такие книжки для изучения хороших манер. Я назову все степени: первая – у ч т и в о е в о з р а ж е н и е , вторая – с к р о м н я я н а с м е ш к а , третья – г р у б ы й о т в е т , четвертая – с м е л ы й у п р е к , пятая – д е р з к а я к о н т р а т а к а , шестая – л о ж ь п р и м е н и т е л ь н о к о б с т о я т е л ь с т в а м и седьмая – п р я м а я л о ж ь » [Шекспир 1959, 5: 108] (любопытно, что, по мнению комментатора, здесь пародируется переведенный в 1595 г. на английский язык трактат Савболи «О чести и честных ссорах» [Смирнов 1959: 600]). Литературный персонаж, подробно описывая выгодные стороны своей принадлежности к «непорядочному типу», говорит: «Желание соврать, с целью осчастливить своего ближнего, ты встретишь даже и в самом порядочном нашем обществе, ибо все мы страдаем этой невоздержанностью сердец наших. Только у нас в другом роде рассказы; что у нас об одной Америке рассказывают, так это – страсть, и государственные даже люди! Я и сам ... принадлежу к этому непорядочному типу... Друг мой, дай всегда немного соврать человеку – это невинно. Даже много дай соврать. Во-первых, это покажет твою деликатность, а во-вторых, за это тебе тоже дадут соврать – две огромных выгоды разом» [Достоевский 1957, 8: 229].

Полагают, что искушенность в симпатической магии, столь важной составляющей большинства ранних религиозных культов (по Й. Хейзинге, в то время культ – воплощение чистой игры в самом прямом смысле этого слова – с. 24), позволяла достичь власти тому, кто становился одновременно царем – и магом и жрецом [Фрэзер 1983: 18]. «Неудивительно, что этот последний род занятий привлекает внимание наиболее способных и

честолюбивых членов племени, так как в перспективе эта карьера, как никакая другая, сулила почет, богатство и власть. Самые смысленные из них начинают понимать, как легко можно одурачивать своих более доверчивых собратьев и обращать себе на пользу их суеверия... Способнейшие представители этой профессии, должно быть, становятся более или менее сознательными обманщиками. Именно эти люди благодаря выдающимся способностям [к обману окружающих, как следует из дальнейшего. – А. В.] обычно добиваются наибольшего почета и наивысшей власти... На данной ступени общественного развития высшая власть, как правило, попадает в руки людей наиболее проницательных и наименее разборчивых в средствах» [Фрэнкел 1983: 50-51]. Наличие последнего качества, вероятно, характерно не только по отношению к деятелям давнего прошлого; на этом фоне далеко не бесспорным представляется следующий тезис о том, что «хитрый мошенник, как только он удовлетворил честолюбие, не преследует более никакой корыстной цели и может (что он часто и делает) обратить свои способности, опыт и возможность на службу обществу» [Фрэнкел 1983: 51]. Напротив, с учетом статуса адресатов их вербальная обработка продолжается, а бескорыстное служение такого властителя обществу весьма гипотетично.

Уже издревле социально-имущественная дифференциация учитывается как приоритетная в формировании модели поведения государя: «Подавляй чернь, гаси пыл её, – не склонны к восстанию богатые, бедняки же замышляют вражду» [Поучение 1978: 207], а потому и в последующие эпохи: «Мы ли не правы, скажи? Без обмана возможно ли с чернью? Сам погляди, до чего дик и разнуздан народ!» [Гёте 1987: 31].

«Структурный коннотативный компонент безнравственности, который по отношению к лжи мы определили бы как лживость, слово приобретает в речи, когда продуцируется заведомая ложь. Масштабы разрушений, производимые такими словами, могут принимать для человека катастрофический характер. Это зависит от многих факторов: кем в иерархической структуре общества распространяется заведомая ложь, в

каких масштабах, насколько глубоко она овладевает сознанием общества и другими причинами» [Гируцкий 1996: 122].

Ср. одну из возможных модификаций подобной игры, подаваемую в литературно-художественном тексте как доминантная этическая константа третьего рейха: «... Народ [Германии] верил этим ответам, которые ему готовили люди, не верившие ни в один из этих ответов. Цинизм был возведен в норму политической лжи, ложь стала необходимым атрибутом повседневности. Появилось некое новое, невиданное ранее понятие «правдожи», когда, глядя друг другу в глаза, люди, знающие правду, говорили друг другу ложь, опять-таки точно понимая, что собеседник принимает эту необходимую ложь, соотнося ее с известной ему правдой» [Семенов 1985: 300]. Впрочем, любому, более или менее сведущему в истории (да и в современных событиях), должно быть известно, что суждения, подобные приведенным, можно экстраполировать на ситуации разных эпох и типологически различные государственно-политические устройства; причем, как правило, «знающие правду» (то есть владеющие исчерпывающей объективной информацией об истинном состоянии дел) сами вовсе не склонны придерживаться ни этой правды, ни служить образцом применения высоких этических принципов. Обычно так поступают облеченные широкими властными полномочиями, и это отнюдь не случайно.

Так, Н. Макьявелли в одной из глав своего известнейшего труда, названной «О том, как государи должны держать слово», пишет: «Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямотушие и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность... Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы [интересно, что вот здесь в качестве

объяснения используется то, что сегодняшние пропагандисты и их приверженцы именуют «человеческим фактором». – А. В.] люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется... Надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить» [Макьявелли 1993: 291]. – Ср.: «Первый или главный государственный министр... пользуется словами для самых различных целей, но только не для выражения своих мыслей... Наихудшим предзнаменованием для вас бывает о б е щ а н и е , особенно когда оно подтверждается клятвой; после этого каждый благоразумный человек удаляется и оставляет всякую надежду» [Свифт 1989: 271].

О применении на практике этих рекомендаций (деятелями, даже не обязательно знакомыми с теоретической стороной вопроса; ср. оригинальный виртуозный пассаж: «Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны» [В. Черномырдин, gazeta.ru]), как и о взаимной готовности сторон к такой игре в слова (пусть даже одна из сторон – именуемая обычно «населением» – о своем участии в игре совершенно не подозревает либо очень смутно догадывается) можно судить и по самым современным примерам. Ср. воспроизведение решительных высказываний памятного российского политика – и их интерпретацию «уважаемыми россиянами»: *«Реформы начали работать! Это – главное!»* – «Видишь, говорит: мыло надо закупать, соль, спички». – *«С первого числа! зарплату! всем вовремя!»* – «Денег, говорит, нету». *«Беру! Под личный, понимаешь, контроль»*. – «Вот как! Нету, говорит, денег и не будет» (цит. по [Семенюк 2001: 275]). Конечно, в эпоху перемен многие персонажи и декорации на политической сцене чередуются исторически быстро (иногда – просто неприлично поспешно), но парадигма поведения остается прежней; интрига действия постоянно обеспечивается вербальными актами сверху – и

малокритичным восприятием их на веру в низу социальной пирамиды (лестницы и т. п. – короче говоря, иерархии). Ю. Поляков декодирует афористическое название своей статьи «От империи лжи – к республике вранья» (1992 г.), в частности, следующим образом: «... Мы были империей лжи, но заметьте: это была ложь во спасение ... Сама ложь эта скорее напоминала заклинания... На ее [«империи лжи»] развалинах возникло не царство правды, а обыкновенная республика вранья. Если огрубить ситуацию и выделить тенденцию, то люди решительно прекратили лгать ради «государственных устоев», взапуски начав врать в корыстных интересах... Ложь стала первой и пока единственной по-настоящему успешно приватизированной государственной собственностью... Стоит ли удивляться, как почти все наши более или менее крупные политики меняют убеждения в зависимости от «погоды»... Вообще может показаться, что нас с вами держат за слабоумных» [Поляков 2005: 67-69]. – См. у классика: «Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман...» [Пушкин 1977, III: 189 – с эпиграфом «Что есть истина?»].

При этом, наверное, возможны некоторые варианты. Допустимо предположить, что далеко не все (может быть, даже за весьма незначительным исключением) получатели способны отличить истинную информацию от ложной, оценить степень ее достоверности; как выразился литературный персонаж-мошенник, «ведь все дураки в городе за нас стоят! А дураков во всяком городе куда больше, чем умных» [Твен 1978: 372]; конечно, в таких случаях надо учитывать не только степень умственных способностей адресата (индивидуального или коллективного), но также его культурно-образовательный уровень, изначальную настроенность на обдумывание сообщения – или ее отсутствие; наличие навыков самостоятельного анализа получаемых сведений; убежденность в определенных фундаментальных ценностях – и, соответственно, способность противостоять информационно-психологическому воздействию при твердой

развитой внутренней установке воспользоваться одним, несколькими или всеми этими свойствами.

Однако с тем же успехом нельзя совершенно исключать и несколько иной характер коммуникативной ситуации, а именно: когда адресант (например, политик или сотрудник СМИ) искренне считает, что сотворенное или транслируемое им высказывание безусловно истинно: «корреспондент лгал в газетах, но ему казалось, что он писал правду» [Чехов 1956, 10: 486].

Может быть, в таких случаях в качестве некоего компенсаторно-защитного механизма у адресанта активизируется программа самовнушения (автосуггестии), ср.: «врал-врал, и до того увлекся, что и сам себе начал верить...» [Твен 1978: 392]. Проводя параллель с некоторыми положениями российского гражданского права, можно назвать распространителя информации, в истинности которой он совершенно уверен, но которая на самом деле является абсолютно ложной, «добросовестным приобретателем» (ч. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ в ред. от 02. 07. 05).

Впрочем, решающим фактором мифотворчества, по сравнению с вышеупомянутыми, является тот, который находится, так сказать, «по ту сторону добра и зла», а именно – эффективность вербальных операций: мораль и этика не в счет. Американский социолог Г. Ласуэлл, которого считают основоположником научного направления, посвященного роли слова в пропаганде, создал целую систему; ядром ее стали принципы создания «политического мифа» с помощью подбора соответствующих слов. При этом всё определяет исключительно критерий действенности: «политический миф – это комплекс идей, которые массы готовы рассматривать в качестве истинных независимо от того, истинны они или ложны в действительности» (цит. по: [Кара-Мурза 2002: 89]).

Кстати, такой подход к конструированию мифов предоставляет потребителям информации возможность принять участие еще в одной игре: попытаться различить истину и ложь, правда, без особой надежды на выигрыш. «Указывая на денотацию каких-то объектов, коммуникатор может

подразумевать нечто совершенно другое. И это «совершенно другое» более или менее адекватно угадывается реципиентом. Более того, угадывание прогнозируется и планируется говорящим. Этот процесс... делает более впечатляющим эффект сообщения» [Комлев 2003: 133]. Другой вопрос, **все** ли адресаты склонны и способны к игре в такую «угадайку», но это уже не является решающим фактором.

Можно достаточно обоснованно экстраполировать понятие игры слов на такое явление, как ложь, лексикографически дефинируемое, например, следующим образом: *ложь* – 'неправда, намеренное искажение истины; обман' [МАС₂ 1982, II: 197]. Известно, что «каждое слово представляет собою особый микромир, в котором отражается какой-то кусочек реальной действительности или отклонений от нее (нередко весьма значительных)» [Филин 1984: 16].

Н. Г. Комлев полагает очевидным, что «для установления как истинности, так и правильности высказывания необходимо раскрытие денотативных связей... Корреляция лексических понятий с денотатами (соответственно знакового и понятийного уровней с денотативными) манифестирует так называемый смысл, а также служит основанием деления фраз на истинные и ложные. В сопряжениях содержательных элементов слова иногда выступают сдвиги, отклонения и просто неверные когеренции» [Комлев 2003: 114]. Упоминая о возможности образования вследствие этого (со ссылкой на Г. Вайнриха) так называемых ложных понятий – «слова-понятия могут быть ложными, даже если взяты изолированно [это суждение до некоторой степени перекликается с вышеприведенным суждением Ф. П. Филина. – А. В.], поскольку за ними стоит невыраженный контекст-дефиниция» (ср. все-таки: «слова живут не вне контекстов их употребления» [Филин 1982: 226]), Н. Г. Комлев замечает: «Не надо забывать об условности таких оценок слов. Ведь сами знаки никаких суждений не выражают и выражать не могут. Это способны делать только люди, пользующиеся языком» [Комлев 2003: 114]. С этим сопряжено еще одно немаловажное

обстоятельство: «...Ценности высказываний определяются не их отношением к языку (как чисто лингвистической системе), а разными формами отношения к действительности, к говорящему субъекту и к другим (чужим) высказываниям» [Бахтин 1986б: 319].

Играть в слова по своим правилам нравится многим представителям гуманитарных наук. Например, социологам из ВЦИОМа, 09-11.01.10 проведшим опрос российского населения, потребовав ответа на вопрос: «Как вы считаете, что сейчас важнее для России – демократия или порядок?» Респонденты, которым дали таким образом понять, что «демократия» и «порядок» – вещи противопоставленные, разделились явно неравномерно: 72% выбрали вариант ответа «порядок, даже если для его достижения придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод», и лишь для 16% оказалась предпочтительнее «демократия, даже если последовательное соблюдение демократических принципов предоставляет определенную свободу разрушительным и криминальным элементам»; а 12% так и «затруднились ответить» на виртуозно сформулированный вопрос, априорно ограничивающий и изолирующий «демократию» от «порядка» [ГН №53. 15.04.10. С. 1].

Весьма интересными представляются наблюдения и выводы, сделанные Л. Н. Синельниковой по поводу «симулякров»: «...Всё можно заменить на всё, переставить местами, оторвать от логики здравого смысла, убрать различительные признаки. И далее – по нарастающей: всё игра, кажимость, мнимость, и доверять чему бы то ни было опасно. Слово *симулякр* – от *симуляции*. Симуляция – это притворство, ложное утверждение или изображение чего-либо с целью ввести в обман... Если это явление становится социально значимым, влияет на общественное сознание и стремится изменить культурный код, – симуляция приобретает новое качество и становится симулякром. Реальным провозглашается то, что симулируется» [Синельникова 2003: 216-217]. Уже это само по себе следует считать чрезвычайно важным для формирования этических норм общества –

или их деформации и деструкции. Однако, по справедливым суждениям цитируемого автора, такие процессы, логически продолжаясь и лавинообразно распространяясь (причем, как будет показано далее, целенаправленно через каналы СМИ), имеют и более глубокие и долговременные результаты: «Симулякры влияют на концептуальные категории мировидения, формируют свои культурные коды в сознании... Современное состояние общественного сознания и связанной с ним языковой картины мира дает основание для расширительного применения понятия симулякра как отстраненности от смысла, убыстренного и безответственного общения, тотального распыления мысли, нечеткости и диффузности знаний... Понятия *истина, ложь, достоверность* «перемальваются» в дискурсах-симулякрах, и никто уже не пытается разобраться, что достоверно, а что нет» [Синельникова 2003: 216, 219].

АСПЕКТЫ МАНИПУЛЯЦИИ

Согласно одной из многочисленных дефиниций, языковая игра – «сознательное манипулирование языком, построенное на необычности использования языковых средств» [Санников 1999: 37]. Впрочем, трактовать «необычность использования языковых средств» можно довольно широко; да и манипулирование оказывается – по крайней мере, в большинстве случаев, – вполне сознательным, иначе его надо было бы называть как-то иначе (например, небрежностью, ошибкой и т. п.).

Известны различные определения манипуляции. Ср. следующие лексикографические дефиниции: *манипуляция* – 1) 'движение рук, связанное с выполнением определенной задачи, напр. при управлении каким-л. устройством'; 2) 'демонстрирование фокусов, основанное преимущественно на ловкости рук, умение отвлечь внимание зрителей от того, что должно быть от них скрыто'; 3) * 'махинация, мошенническая проделка' [СИС 1979: 300]. Вероятно, на основе двух последних значений (одно из которых является к тому же метафорическим, что, наверное, облегчило его использование в различных сферах) развилось несколько иное – как специального термина социальных наук: «*манипуляция* – (социологич. и социально-психологич.) 'система способов идеологич. и духовно-психологич. воздействия с помощью средств массовой коммуникации на массы с целью их подчинения бурж. ценностям и образу жизни, насаждения потребит. психологии, антикоммунистич. идеологии' [СЭС 1983: 755]. Этот термин очевидно призван был служить отрицательно-оценочным обозначением явления, присущего враждебным социальным процессам и тем СМИ, которые их обеспечивают. Ср.: «...В условиях буржуазного общества главной функцией массовой коммуникации является социальная манипуляция общественным сознанием, адаптация населения к стандартам и канонам буржуазного образа жизни...» [Ножин 1974 : 8].

Впоследствии появились и более нейтрализованные определения: «Манипуляция – это вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения

в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [Доценко 1996: 60].

По-видимому, коннотация слов гнезда *манипул-* со временем менялась: «Слово «манипулирование», или «манипуляция», ведет свое происхождение от латинского слова *manipulare*, в своем первоначальном содержании означает в совершенно позитивном смысле «управлять», «управлять со знанием дела», «оказывать помощь» и т. п.» [Зирка 2004: 134-135].

Ср. другие варианты дефиниции, подразумевающие иную оценку описываемого явления: «Манипуляция есть обман как феномен коммуникации, имеющий своего автора и исполнителя, у которых есть, в свою очередь, мотив» [Секретарева 2007: 268] – либо «скрытое возбуждение намерений, не совпадающих с актуально существующими у человека» [Кузоро 1999: 125].

Отметив, что слово *манипуляция* имеет отрицательную окраску («им мы обозначаем то воздействие, которым недовольны, которое побудило нас сделать такие поступки, что мы остались в проигрыше, а то и в дураках»), С. Г. Кара-Мурза описывает его этимологию и семантические эволюции, приведшие к такому результату: современное переносное значение слова – ловкое обращение с людьми как объектами, вещами. Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка...»; изданный в 1969 г. в Нью-Йорке «Современный словарь социологии» определяет манипуляцию как «вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характера поведения, которое он от них ожидает» [Кара-Мурза 2002: 15]. Одним из важных этапов в развитии метафорического употребления слова было, по мнению психологов, искусство артистов, фокусников-манипуляторов, которые способны добиваться эффекта своего

выступления, используя психологические стереотипы зрителей, отвлекая, перемещая и концентрируя таким образом иллюзии восприятия. К главным, родовым признакам манипуляции относят следующие: 1) это вид духовного, психологического воздействия, мишенью которого являются психологические структуры личности; 2) это скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции; 3) это воздействие требует от манипулятора значительного мастерства и знаний; 4) это отношение к людям, сознанием которых манипулируют, не как к личностям, а как к объектам, особого рода вещам [Кара-Мурза 2002: 16-17].

Манипуляции – неизбежный модус поведения и необходимый атрибут и инструмент любой власти так же, как и средства массовой информации, без которых осуществление манипулятивных операций заведомо невозможно (в лучшем случае малоэффективно).

Одним из главных компонентов манипуляции обычно считают внушение (суггестию): «это воздействие на личность, приводящее либо к появлению у человека помимо его воли и сознания определенного состояния, чувства, отношения, либо к совершению человеком поступка, непосредственно не следующего из принимаемых им норм и принципов деятельности. Объектом внушения может быть как отдельный человек, так и группы, коллективы, социальные слои» [Кузоро 1999: 120]. Предпосылки внушения оцениваются зачастую столь же негативно, сколь и сама манипуляция: его определяют и как «специально организованный вид коммуникации, предполагающий некритическое восприятие сообщаемой информации» [Мельник 1999: 58].

Вряд ли можно считать всегда абсолютно верными даже в своей отправной точке попытки абсолютного разграничения, правда, в какой-то степени несхожих, но всё же весьма и весьма близких явлений, ср.: «Внушение отличается, к примеру, от пропаганды тем, что основано на принципе взаимодействия и стремится удовлетворить как того, кто внушает, так и объекта внушения, тогда как пропаганда стремится добиться реакции,

способствующей реализации желаемых самим пропагандистом целей» [Секретарева 2007: 267]. Конечно, довольно распространены ситуации, подобные описанной классиком:

«Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!»

[Пушкин 1977, II: 303].

Однако едва ли можно считать такую модель поведения реципиента внушения универсальной; скорее, все-таки наоборот. Кроме того, существительные *внушение* ('воздействие на волю и сознание человека с целью внушить ему какие-л. мысли, убеждения, чувства' [МАС₂ 1981, I: 190]) и *пропаганда* ('политическое или идеологическое воздействие на широкие массы, а также органы и средства, с помощью которых осуществляется это воздействие' – *Коммунистическая пропаганда. Буржуазная пропаганда.* [МАС₂ 1983, III: 508]) очевидно тесно взаимосвязаны посредством общего семантического компонента *воздействие* – 'действие, направленное на кого-, что-л. с целью добиться, достичь определенного результата' [МАС₂ 1981, I: 199]. Таким образом, противопоставлять внушение пропаганде возможно лишь с учетом преимущественной профессиональной сферы употребления каждого из них (например, медицинской – и политической).

Именно о манипулятивных потенциях языка сегодня упоминают всё чаще, что свидетельствует о растущей актуальности проблем интересующего нас круга.

«Язык как система понятий, слов (имен), в которых человек воспринимает мир и общество, есть самое главное средство подчинения... Первоначальной функцией слова на заре человечества было его суггесторное воздействие» [Кара-Мурза 2002: 84]. Подобные суждения находим в трудах лингвистов, в ряде случаев

подчеркивающих невозможность четкого и безусловного разграничения манипулятивных и «неманипулятивных» речевых актов, например, «из-за крайней сложности квалификации и проведения черты между просто речевым воздействием, без которого нет и не может быть естественного общения людей (любой речевой акт суггестивен), и манипуляцией» [Голев 2007: 11]. Ср.: «Любой акт речевого общения не происходит ради самого общения: коммуниканты всегда преследуют определенные речевые цели, которые в итоге влияют на деятельность собеседника» [Секретарева 2005: 266] – и: «Любой акт коммуникации, вербальной или невербальной, призван воздействовать на её участника. Даже фатическое общение имеет целью как минимум возбудить внимание к тому, кто такое общение инициирует. Даже нейтрально-информативный монолог типа научного сообщения имеет целью как минимум побудить слушателей вникнуть в его содержание...» [Осипов 2007: 217].

Несомненно, что и «текст закона в каком-то отношении является узаконенным манипулятивным текстом» [Бринев 2005: 158].

Запоздало смелые обличения «советского новояза» всё заметнее сменяются интересом к современным феноменам манипулятивного использования языка, четко наблюдающимся прежде всего в сферах политической деятельности (в том числе – управленческой) и коммерческой (рекламный бизнес). К справедливому в общем суждению по этому поводу Н. Д. Голева («манипулятивное использование языка всё больше трансформируется в сильнейшее средство борьбы за власть ... и за деньги») следовало бы, наверное, добавить, что борьба за власть зачастую (или всегда?) оборачивается борьбой за деньги – и vice versa; при этом о «правах личности» [Голев 2007: 11] вспоминают крайне избирательно: если личность не претендует ни на власть, ни на деньги (и не обладает ими), то её права вряд ли кого-либо серьёзно интересуют. В свете философии информационной войны, слова естественного языка легко можно превратить в носителей скрытой угрозы для сложных самообучающихся систем

(человека, социальной группы, государства); поскольку «словом можно активизировать т. н. типовые программы агрессии, смеха, плача, жалости и т. п., которые не являются скрытыми и в принципе могут контролироваться сознанием хозяина. Аналогичным образом можно сформулировать скрытую программу и определить для нее ключ. ... Можно, используя слово, заставить человека или компьютер самостоятельно сгенерировать нужную программу, которая послушно будет ждать своего часа активизации» [Расторгуев 2003: 243].

Упомянутую выше «необычность использования языковых средств» [Санников 1999: 37] можно трактовать в том числе и как некогерентность дискурса, то есть отрыв слова от сути явления, возможность исказить реальность, мифологизировать представление о ней [Синельникова 2002: 189].

МАНИПУЛЯЦИИ СЛОВОМ

Проблемы манипулятивных технологий, методов речевого воздействия на индивидуальное и общественное сознание рассматриваются специалистами в разных аспектах, среди которых, на наш взгляд, главным

является анализ особенностей употребления лексико-фразеологических элементов в соответствующих дискурсах средств массовой информации.

«...Политика – это всегда борьба за власть, а в этой борьбе победителем обычно становится тот, кто лучше владеет коммуникативным оружием, кто способен создать в сознании адресата необходимую манипулятору картину мира. Например, опытный политик не будет призывать к сокращению социальных программ для малоимущих, он будет говорить только о «снижении налогов». Однако хорошо известно, за счет каких средств обычно финансируется помощь малообеспеченным гражданам. Умелый специалист будет предлагать бороться за социальную справедливость, за «сокращение пропасти между богатыми и бедными», и не всякий избиратель сразу поймет, что это призыв к повышению прямых или косвенных налогов, а платить их придется не только миллионерам. Точно так же опытный политик будет говорить не о сокращении помощи малоимущим, а о важности снижения налогов, однако легко предположить, какие именно статьи бюджета пострадают после сокращения налоговых поступлений» [Будаев, Чудинов 2006: 19].

Весьма распространены и извержения политиками словесных потоков, лишенных сколько-нибудь внятного логического содержания.

Образцом смысловой пустоты высказывания при обилии употребляемых слов может служить монолог министра из сатиры А. К. Толстого «Сон Попова», где дан собирательный речевой портрет гримирующегося под либерала сановного бюрократа 60-70-х годов XIX века:

«...Прошло у нас то время, господа –
Могу сказать: печальное то время, –
Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бремя.
Народ воскрес – но не вполне – да, да!⁴
Ему вступить должны помочь мы в стремя,

⁴ Ср.: «Когда убили женщину-журналиста, нация вздрогнула, но не до конца» [И. Хакамада. Новости. ТВ-6. 24.11.98].

В известном смысле сгладить все следы
И, так сказать, вручить ему бразды.
... России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим,
Создать, коль смею выразиться, вид,
Который называется присущим
Всем временам; и, став на свой гранит,
Имущим, так сказать, и неимущим
Открыть родник взаимного труда.
Надеюсь, вам понятно, господа?» [Толстой 1981, 1: 294-295].

Примерно столь же многословны и при этом малосодержательны были выступления первопоследнего президента СССР.

Поэтому сохраняет характер аксиомы известнейшее речение: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их» [Матф., 7; 15-16]. Относительно современной ситуации при демократической системе правления «определить, чьи интересы: наши – отечественные или чужие – заморские, будет отстаивать «избранник», тоже несложно. Достаточно посмотреть на те персонажи, которые его поддерживают, не столько на слова, сколько на конкретные дела, неизбежно проявляющиеся через контакты, зарубежные поездки, подписанные финансовые и другие документы, связанные с изменениями материальной сферы... Достаточно снять с глаз розовую пленку ничего не значащих слов, эмоций и веры в правоту телевизионных ведущих и их гостей» [Расторгуев 2003: 415].

Б. И. Осипов считает необходимым четкое разграничение понятий «речевое воздействие», «речевое манипулирование», «речевое мошенничество» (кстати, кажется, им же введенный термин) [Осипов 2007: 216-217]: используя последнее в качестве отправной точки рассуждений, цитируемый автор полагает, что «о мошенничестве в юридическом смысле слова правомерно говорить лишь в тех случаях, когда именование (или,

чаще, переименование) товара или услуги приносит не просто надежду на успех, хотя бы и коммерческий (т. е., например, реклама – это «манипулирование не всегда законное, но все-таки не мошенничество в юридическом смысле» [Осипов 2007: 218]), а реальный, подчас даже исчислимый денежный доход» [Осипов 2007: 219]. Скажем, «когда заработная плата, не меняя своего размера, отстает от прожиточного минимума, она меняет свою суть и становится социальным пособием, а если за ней сохраняется наименование «заработная плата», то перед нами опять-таки мошенничество речевого характера» [Осипов 2007: 220]. Кстати, верно отмеченные автором «лингвистические изыски» российского официоза (представить аудитории СМИ обстановку в Чечне и пограничных с нею регионах как преимущественно почти мирную) вряд ли совершенно «не преследуют непосредственно корыстной, собственно имущественной цели, имеющей конкретное финансовое выражение» [Осипов 2007: 217-218]. Дело в том, что выплата определенной надбавки к денежному содержанию военнослужащего (т. н. *боевых*) зависит именно от его личного участия в войне (*боевых* действиях); и если в упомянутом регионе царит мир, то и «боевые» находящимся там солдатам и офицерам, естественно, не положены – то же самое, что и в случае с «заработной платой», не дотягивающей до планки прожиточного минимума (а ведь и её тоже устанавливают довольно загадочным образом, как и уровень «социальных расходов электроэнергии» и т. п.). Такой словесной эквилибристики в российском официозе более чем достаточно, и причины этого весьма прозрачны: «Политические лидеры, средства массовой информации, воздействуя на общество и конкретную личность, используют разнообразные приемы, в том числе и речевое давление, языковое манипулирование» [Семенюк 2001: 279]; желание манипулировать неистребимо [Синельникова 2002: 189].

Понятие «языковое (речевое) манипулирование» представляется, конечно, более узким, нежели «манипулирование вообще». Приведем некоторые определения.

Языковое манипулирование – «вид языкового воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент. В основе языкового манипулирования лежат такие психологические и психолингвистические механизмы, которые вынуждают адресата некритично воспринимать речевое сообщение, способствуют возникновению в его сознании определенных иллюзий и заблуждений, провоцируют его на совершение выгодных для манипулятора поступков» [Быкова 1999: 99]. – «Под языковым манипулированием мы понимаем скрытое воздействие на реципиента (группу индивидов), совершаемое в интересах воздействующей стороны, с целью достижения определенного эффекта. Путем манипуляции в сознание внедряются идеи, образы, ассоциации, стереотипы, которые могут полностью, причем незаметно для человека, изменить его отношение к миру» [Любимова 2005:1]. – Ср. также «компромиссное» определение «языко-речевая манипуляция» [Бринев 2005: 156-157].

Хотя иногда и говорят, исходя из сосюрговской дихотомии *язык – речь*, что было бы точнее «квалифицировать данное явление как *речевую* манипуляцию, так как в данном случае речь идет об *использовании* языковых средств и подчеркивается прагматический характер явления» [Бугорская 2004: 5], однако именно на факте существования языка как знаковой системы базируется возможность его применения в функции инструмента манипуляции.

Очевидно, что, подобно тому, как это происходит в любой игре, участники манипулятивных игр в слова также распределяются по ролям в акте коммуникации: адресант и адресат / субъект и объект / источник и реципиент / манипулятор и манипулируемый, соблюдающие определенный образ поведения. Так, рассматривая загадку как пример высококонвенционального действия, называемого игрой, противопоставляют его «обычному» коммуникативному акту по следующим критериям: «а) игра

– это высококонвенциализированное коммуникативное действие, следовательно, действия игроков расписаны очень жестко, роли четко распределены; б) игра не может начаться спонтанно: прежде чем начать играть, игроки договариваются об этом, этот договор – не следствие некоторых коммуникативных поведений, не молчаливое согласие, а результат формально выраженных направленных взаимодействий; в) для игры характерно наличие целей, в большой степени абстрагируемых от конкретных условий коммуникаций... Роль участника игры – это своего рода маска, под которой существует коммуникант прежний, доигровой» [Филиппов 1998: 103]. Ср. эпизод состязания сказочных персонажей – Бильбо и Голлума, во время которого они меняются ролями субъекта и объекта манипуляции, «загадчика» и «отгадчика», причем нарушают правила игры взаимно, поскольку не доверяют друг другу: «Он [Бильбо] знал, конечно, что игра в загадки очень старинная и считается священной и даже злые существа не смеют плутовать, играя в нее. Но Бильбо не доверял этому скользкому созданию: с отчаяния оно могло выкинуть любую штуку. Под любым предлогом оно могло нарушить договор. Да и последняя загадка, если на то пошло, согласно древним правилам игры, не могла считаться настоящей» (т. е. это был «обычный» вопрос. – А. В.) [Толкиен 1991: 74-75].

Замечательный пример высококонвенциональной игры (причем выражающейся не только вербально), участники которой как бы надевают на себя некие маски, соответствующие их ролям, и соблюдают необходимые правила, – это взаимоотношения Бориса Друбецкого и Жюли Карагиной.

Предварительные условия игры: в силу обстоятельств Борису, приехавшему в Москву для женитьбы на богатой невесте, приходится остановить свой выбор на Жюли. Ей двадцать семь лет, она очень богата и совершенно некрасива (хотя и считает, что «она не только так же хороша, но еще более привлекательна теперь, нежели была прежде»); причем Жюли «усвоила себе тон девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случилось, на нее

смотрели, как на таковую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни» [Толстой 1980, V: 323]. – «... Некоторые молодые люди, в числе которых был и Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, и с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о тщете всего мирского... Жюли была особенно ласкова к Борису» [там же].

Далее отношения между мнимыми страдальцами развиваются по канонической партитуре сентиментализма; имитация чувств нарастает: «Жюли играла на арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух «Бедную Лизу» и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыхание. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга как на единственных людей в море равнодушных, понимавших один другого» [Толстой, 1980, V: 324] – и через «месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли» Борис делает предложение: «Вы знаете мои чувства к вам!» – Говорить больше не нужно было: лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством; но она заставила Бориса сказать ей всё, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит её и никогда ни одну женщину не любил более её. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого, и она получила то, что требовала» [Толстой 1980, V: 326].

Таким образом благополучно завершается игра, результатом которой удовлетворен каждый из её участников, игравших по установленным (хотя и неписаным) правилам: им теперь можно сбросить поднадоевшие обоим маски, забыть о сентиментальности как непрременном условии игры и вести себя естественно: «Жених и невеста, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем и приготавливали всё для блестящей свадьбы» [Толстой 1980, V: 327].

Можно согласиться с тем, что в основе манипуляции лежат речевые действия, имеющие конкретную направленность (впрочем, как уже сказано выше, это относится по существу ко всем коммуникативным актам): субъект

манипуляции пытается навязать ее объекту свою волю [Бринев 2005: 161]. Это, в общем-то, прозрачное положение нуждается, на наш взгляд, в определенной дополнительной дешифровке. А именно: путем использования каких типологически однородных (или разнородных?) языковых либо неязыковых средств может быть достигнуто (или полностью, или хотя бы частично) подавление воли объекта – причем с учетом такого важного обстоятельства, в какой степени эта воля имеется у адресата воздействия, который может быть и предрасположен или подготовлен (либо толерантен) к нему.

Это можно рассмотреть на материале текстов коммерческой рекламы. Было бы затруднительным абсолютно четкое разграничение СМИ и рекламы, хотя такие попытки иногда предпринимаются (ср.: «Предлагаем выделить рекламолект как особый социолект, характеризующийся присутствием речевого образа продавца и ожиданием обратной связи от потенциального потребителя» [Ульянская 2005: 95]. – «Реклама является особым типом текста, текстом влияния. Растиражированность таких текстов позволяет сказать, что именно данная сфера культуры оказывает наибольшее воздействие на сознание современной личности» [Пикулева 1998: 112] – хотя любой текст СМИ очевидно выполняет те же задачи). Реклама – неотъемлемая составляющая СМИ, концентрированно выражающая их цели: «дать нам такие знаки, чтобы мы, встроив эти знаки в контекст, изменили образ этого контекста в нашем восприятии. Он подсказывает нам такие связи своего текста или поступка с реальностью, навязывает такое их истолкование, чтобы наше представление о действительности было искажено в желательном для манипулятора направлении» [Кара-Мурза 2002: 28]. Собственно, принципиально безразлично, какой товар предлагает покупателю (аудитории) продавец через рекламу (устами СМИ): политического деятеля или товары широкого потребления, трансформируя представления аудитории о реальности – внушая, например, мысль, что без

данного товара (или политика) более или менее комфортное существование реципиента невозможно.

Обычно исследователи заключают, что с помощью рекламных текстов формируется некая псевдодействительность, мир, параллельный реальному и имеющий с последним весьма мало общего. Кроме того, отмечают, что разнообразные манипулятивные игры в слова, реализующиеся в рекламных текстах, преследуют цель ввести в заблуждение, обмануть: «Реклама нарушает этическую норму..., побуждая покупателя к совершению некритического поступка..., наносит тем самым вред потребителю (материальный, моральный и др.). Добиваясь своих целей, она не думает о покупателе как о человеке [собственно, это свойство манипуляций вообще. – А. В.]... Ориентируясь на западные образцы, реклама стремится привить чуждую русской ментальности систему культурных норм и ценностей. Она формирует не только новые потребности, но новые «суррогатные» (мнимые) ценности... Реклама проповедует в основном материальные ценности, забывая о духовных [точнее, может быть, речь идет о подмене духовного материальным? – А. В.]» [Попова 1998: 115]. Такой должна стать псевдообъективная, «виртуальная» реальность – миф, в который планируется вовлечь потребителя [Зирка 2004: 134]; мир, который в интерпретации его товаров предстает в значительной степени упрощенным либо искаженным [Кузьмина, Терских 2005: 168]. Монополии попутно (а может быть, это и является главной их целью) «перепрограммируют нас из самой читающей и противоречивой нации в некое подобие собственным одномерным существам, мыслящим исключительно в заданных свыше категориях и поступающим так, как надо производителям Зрелищ, а не иначе» [Расторгуев 2003: 425].

Кроме того, не о всех рыночных механизмах и уж тем более об их психологии далеко не всегда принято говорить открыто (ведь и когда не в меру доверчивым советским людям вдалбливали представления о прелестях *рыночной экономики*, умалчивали, что речь идет о капитализме, справедливо

отягощенном устойчивой негативной коннотацией [Кара-Мурза 2002: 415]; собственно, одна из обычных манипулятивных «игр в слова»). Например, о четком разделении общества на богатых и бедных, на тех, кто может купить рекламируемый продукт либо услугу, и на тех, кто может только слушать об этом либо созерцать на телеэкране или в рекламном издании. Чрезвычайно актуальным для «россиян» следует считать сегодня «возникающий во втором случае синдром ресентимента (от фр. *ressentiment* – 'злопамятность, озлобление') – тягостного сознания тщетности попыток повысить свой статус в жизни и в обществе. Связывая ресентимент с проблемой понимания смысла текста в его соотношении с реальностью, можно сказать, что, чем больше непонимание и неудовлетворение, тем выше уровень недоверия и даже агрессии» [Синельникова 2003: 218].

Ср.: «... Ни денег у них, ни надежды [у преподавателей уважаемой частной школы для отпрысков имущих, где «уважительность оплачивается скудно»]. Мир меняется, меняются моды; женщины Карна следят за модой издали, ушивают платья, закалывают волосы, и с каждым глянцевым модным журналом подбавляется в них ненависти к мужьям» [Ле Карре 1989: 275].

По мнению некоторых зарубежных исследователей, «телевизионная семья... гораздо (примерно вчетверо) богаче реальной средней американской семьи», у которой оставляет «крайне преувеличенное, ошибочное представление о том, насколько богат средний американец. Сравнивая себя с этой мифической семьёй, все испытывают в конечном счёте чувство ущербности» [Калашников 2003: 82]; кстати, тот же инструмент регулирования самооценки аудитории очевидно используется и в российских телесериалах, как сделанных по зарубежным (прежде всего американским) лекалам, так и в собственно отечественных.

Таким образом совершается очень значимая манипулятивная операция: большинство постоянных потребителей телепродукции и т. н. гляцевых журналов обречены существовать с постоянным ощущением

неудовлетворенности собой и своими близкими, сами готовы оценивать себя как людей, не сумевших реализовать якобы предоставленные им возможности, как неудачников, не пригодных ни к чему – и прежде всего к добыче денег (неслучайным следует считать широкое распространение, особенно в российской молодежной среде, американизма *loser* – в русской передаче *лузер*⁵). Отсюда – падение жизненного тонуса, ожесточенность, обрыв семейных и иных межличностных связей, эмоциональная неуравновешенность и психические расстройства; зачастую – и стремление отомстить за это всему окружающему миру (ср. нередкие случаи т. н. «бессмысленных» массовых убийств в «цивилизованных странах» или погромы и грабежи, устроенные в одной из них – Англии – представителями социальных низов, в основном небелыми иммигрантами в августе 2011 г.).

РОЛЬ АДРЕСАТА МАНИПУЛЯЦИИ

Немаловажно, что восприятие и усвоение информации зависит от готовности людей принять ее воздействие. Ср. пример взаимодействия субъекта и объекта манипуляций:

«– Итак, если нет препятствий, то с богом можно бы приступить к совершению купчей крепости, – сказал Чичиков.

– Как, на мертвые души купчую?

– А, нет! – сказал Чичиков. – Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от

⁵ Ср. детализированное писателем толкование: «Он ощущал себя именно «лузером», то есть не просто полным идиотом, а вдобавок к этому военным преступником и неудачным звеном в биологической эволюции человечества» [Пелевин 1999: 179-180].

гражданских законов; хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон – я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал, наконец, хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел и больше ничего.

– Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

– О! Помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предсуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, – так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие или негоция никак не будет несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.

– Так вы полагаете?..

– Я полагаю, что это будет хорошо.

– А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, – сказал Манилов и совершенно успокоился» [Гоголь 1956: 32-33].

Это – пример манипуляции межиндивидуального уровня, успех которой манипулятор мог легко предугадать. Однако, как полагают, столь же эффективно (если не более) манипулятивно-суггесторные операции применимы по отношению к большим массам людей, как организованным,

так и сугубо неорганизованным: «Что во многих отношениях удивительно и малопонятно, это всемогущество слов в психологии толп. Могущество, которое происходит не из того, что говорится, а из их «магии», от человека, который их говорит, и атмосферы, в которой они рождаются» (С. Московичи – цит. по [Кара-Мурза 2002: 85]).

К числу классических литературно-художественных описаний таких вербально-манипулятивных операций принадлежит эпизод трагедии Шекспира «Юлий Цезарь»: это обращенное к толпе римских граждан «надгробное слово» Марка Антония (сцена 2-я III акта – далее цит. по [Шекспир 1959, 5: 277-285]).

Антоний строит свое выступление психологически точно и риторически выверенно.

Предварительно оговорившись, что он «обязан Бруту ... за разрешение здесь речь держать» и что он «не восхвалять ... Цезаря пришел, А хоронить», Антоний в первой же части своего выступления начинает перечислять заслуги Цезаря, который «Гнал толпы пленников к нам ... в Рим, Их выкупом казну обогащая ... Стон бедняка услыша, ... плакал ... Я трижды подносил ему корону, И трижды он отверг – из властолюбья?» (причем неоднократно повторяется в качестве своеобразного рефрена: «Честный Брут сказал, что Цезарь был властолюбив ... А Брут ведь благородный человек, И те, другие, тоже благородны ... Но Брут назвал его властолюбивым. А Брут весьма достойный человек» и т. д.). Первая часть речи заканчивается обращением к чувству и разуму «друзей, сограждан» – т. е. толпы («Вы все его любили по заслугам») и драматической паузой («За Цезарем ушло в могилу сердце, Позвольте выждать, чтоб оно вернулось»).

Во второй части выступления Антоний напоминает, что «Вчера еще единым словом Цезарь Всем миром двигал» – и «вот он недвижим, Без почестей, пренебрегаем всеми»; тут же оратор говорит о своем миролюбии, вновь подчеркивая высокие гражданские качества антицезарианцев («... когда б хотел Поднять ваш дух к восстанью и отмщенью, Обидел бы я

Кассия и Брута, А ведь они достойнейшие люди»), и делает здесь же многословный намек на завещание Цезаря, дарующее римлянам неисчислимы блага; огласить же завещание оратор якобы не желает потому, что в результате этого возможно некое всенародное потрясение («Услышав Цезарево завещанье, Воспламенитесь вы, с ума сойдете»), а проговорился он об упомянутом документе случайно («О завещанье я вам проболтался»); вновь деликатно повторяется: «Боюсь обидеть тех людей достойных, что Цезаря кинжалами сразили».

Далее Антоний просит у толпы разрешения сойти с ростры (чтобы таким образом не возвышаться над слушателями, но оказаться с ними на одном уровне – а такое стирание пространственной границы имеет, конечно, и смысл отказа от социальных перегородок: аристократ буквально снисходит до аудитории) и предлагает всем стать в круг над прахом Цезаря (что также имеет сакральное значение: клятвы над телом павшего вождя и т. п.). Как будто забыв о завещании, оратор, вскользь еще раз напомнив о полководческих заслугах своего патрона (а кстати уж, и о собственной причастности к ним), указывает аудитории на раны, нанесенные убитому обманувшими его доверие приближенными (и тут же называет имена некоторых из них: Кассий, Каска, Брут), уже не объявляя их честными, благородными и достойными: «Кровавая измена торжествует».

В следующей части выступления Антоний вновь подчеркивает свою приверженность идее гражданского мира («... Я вовсе не хочу, Чтоб хлынул вдруг мятеж потоком бурным»), предлагает римлянам с а м и м выяснить мотивы, двигавшие убийцами «благородными», к которым говорящий не испытывает неприязни («Увы, мне неизвестны побужденья Их личные, они мудры и честны И сами всё вам могут объяснить. Я не хочу вас отвортить от них»); кроме того, он якобы не владеет даром публичного красноречия: слишком простодушен («Я не оратор, Брут в речах искусней; Я человек открытый и прямой ... Нет у меня заслуг и остроумья, Ораторских приемов, красноречья, Чтоб кровь людей зажечь»). А потому Антоний способен

сообщить аудитории будто бы лишь неоспоримые факты («Я говорю Здесь прямо то, что вам самим известно: Вот раны Цезаря – уста немые, И я прошу их – пусть вместо меня Они заговорят»). Будь иначе, «И камни Рима, возмутясь, восстали».

Далее Антоний, как бы спохватившись, подогревает пыл уже возбужденной им толпы долгожданным чтением завещания Цезаря («Он римлянину каждому дает ... по семьдесят пять драхм ... Он завещал вам все свои сады, беседки и плодовые деревья вдоль Тибра ... На веки вечные для развлечений»), заканчивая патетическим восклицанием: «Таков был Цезарь! Где найти другого?»

О несомненном вербально-манипулятивном (иначе – демагогическом) мастерстве Антония свидетельствуют изменения настроений толпы. Вначале аудитория, казалось бы убежденная предшествующим выступлением Брута в правоте его и его сторонников («Ведь Цезарь был тиран») и лишь с «разрешения» (а в сущности, по тактически неосторожной рекомендации главы заговорщиков) внимающая Антонию, относится к последнему настороженно. Но сразу после вступительной части речи римляне начинают сомневаться в ранее услышанном от Брута («В его словах как будто много правды ... Выходит, если только разобраться, зря Цезарь пострадал ...»), хотя им предложена лишь интерпретированная оратором информация («Вы слышали? Не взял короны Цезарь; так, значит, не был он властолюбив»), исходящая, однако, от самого авторитетного источника («В с е х б л а г о р о д н е й в Риме Марк Антоний»). Раздается единичная пока угроза по адресу заговорщиков («Тогда они поплатятся жестоко»).

После упоминания о завещании уже «все» требуют огласить его, а отношение к участникам заговора резко меняется у многих («... Предатели они»... «Они злодеи, убийцы»). Сцена демонстрации Антонием ран Цезаря заканчивается всеобщими призывами: «Мечь! Восстанем! Найти их! Сжечь! Пусть ни один предатель не спасется». За якобы миротворческими увещаниями Антония повторяется уже непредотвратимое намерение толпы

(«Восстанем мы!»). Наконец, в результате оглашения завещания Цезаря слушатели переходят к непосредственным действиям («Огня добудьте». «Скамьи ломайте». «Скамьи выламывайте, окна, все!»).

Таким образом, тематическая градация речи Марка Антония выстроена безошибочно: 1) напоминание о высоких заслугах убитого; сомнение в главных аргументах его противников; обращение к рациональным началам и сугубо человеческим эмоциям аудитории; 2) заверения в собственном миролюбии и благонамеренности; намек на скорое материальное вознаграждение слушателям; 3) характеристика жестокости вероломного убийства; 4) предложение полноправным гражданам с а м о с т о я т е л ь н о разобраться в его причинах; 5) описание щедрого посмертного дара, предназначенного не только для присутствующих, но и для их потомков.

Причем эти микротематические линии искусно чередуются и переплетаются, оказываясь взаимодополняющими (для их связи используются повторы). Кроме того, Марк Антоний умело поддерживает уверенность у аудитории, что она действует в соответствии со своими собственными устремлениями (то есть вовсе не является объектом его вербальных манипуляций). Конечно, в итоге Антоний, разжегший гражданскую войну, имеет право удовлетворенно заявить: «Я на ноги тебя поставил, смута! Иди любым путем».

Это – классический образец умелого манипулирования толпой обращающимся непосредственно к ней оратором. Однако и технические особенности современной массовой коммуникации вовсе не препятствуют эффективности демагогических речевых актов. Казалось бы, телепередачи предназначены прежде всего для индивидуального просмотра. Но толпа, в ее виртуальном воплощении, способна формироваться – и успешно формируется! – из телезрителей-одиночек или их микрогрупп: «Для образования толпы не является необходимым физический контакт между ее частицами. Ле Бон пишет: «Тысячи [сегодня уже многие миллионы – А. В.] индивидов, отделенных друг от друга, могут в известные моменты подпадать

одновременно под влияние некоторых сильных эмоций или какого-нибудь великого национального события и приобретать, таким образом, все черты одухотворенной толпы... Целый народ под воздействием известных влияний иногда становится толпой, не представляя при этом собрания в собственном смысле этого слова...». Мы в России видим целенаправленные действия по превращению народа в толпу – через изменение типа школы, ослабление традиций и осмеяние авторитетов, воздействие рекламы, телевидения и массовой культуры, разжигание несбыточных притязаний и пропаганду безответственности. Все признаки тех методов и технологий «толпообразования», на которые обращали внимание изучавшие это явление философы» [Кара-Мурза 2002: 233-235].

ВЕРА – КАТАЛИЗАТОР МАНИПУЛЯЦИИ

При анализе возможных причин эффективности манипулятивных коммуникативных актов надо, по-видимому, учитывать некоторые этнокультурные стереотипы мышления и поведения; например (в нашем случае), ментальные особенности большинства российской аудитории СМИ.

Чрезмерную доверчивость русских к словам, особенно к так называемым «красивым», объясняют по-разному.

Так, полагают, что «тайной силой манипуляторов оказалось русское художественное чувство... Нас сгубила именно чрезмерная художественная впечатлительность, свойство русского дорисовывать в своем воображении целый мир, получив даже очень скудный, мятый обрывок

образа [например, слово как звукобуквенный комплекс, соотносящийся, пусть нечетко-ассоциативно, с каким-либо понятием. – А. В.]. В русских жива еще старая вера в то, что высокое художественное Слово, дар Ученого или любой другой талант обладают святостью, благодатью. Через них не может приходиться зло. А значит, носителям таланта, если они что-то заявляют в поворотные моменты народной судьбы, следует верить. Так и верили – академиком, певцам, актерам. И особенно – писателям» [Кара-Мурза 2002: 404, 408].

Возможны и иные объяснения: «Предпочтение слова делу создает иллюзию как бы отсутствия всяких оригинальных идей, повторения давно известного. С этим связано традиционно относящееся к русской ментальности легковерие, точнее – вера в авторитет, а не в отвлеченную «науку»... Верить можно только конкретному представителю данной науки⁶ (отсюда столь трогательная вера в академиков, которые всё придумают, исправят и даже – сделают)... Русский реализм, совершенно особый художественный стиль, который в точности выражает всё тот же принцип родства и деи и вещи, явленного в русском слове... Русский человек не ксенофоб и тем более – не расист (может быть, в этом его слабость, слабость сильного человека – доверчивость)» [Колесов 2004в: 36, 61, 64] (ср.: «Лишенный реального мускулистого врага, ни с кем не воюя, сильный народ заскучал. А заскучав, он стал сомневаться в себе и прислушиваться к словесным атакам врага. Слушая и скучая, Великий народ стал сомневаться в том, что он великий..., и перестал быть великим. Даже самый слабый и глупый народ или преступная даже группа могли теперь обидеть Великий народ. Иноземцы стали обижать его охотно и с удовольствием» [Лимонов 1992: 252]).

⁶ Интересно в этом смысле очевидно ироничное противопоставление национально-ментально окрашенных типов: «Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина» [Толстой 1980, VI: 53].

По мнению Л. А. Тихомирова, «народ ловится на словах» (цит. по: [Расторгуев 2003: 379]) – и это суждение справедливо, очевидно, применительно прежде всего к русскому народу – на основе его доминантных ментальных черт.

Ментальность – это «миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [Колесов 1995: 14]; основной же единицей ментальности выступает концепт данной культуры, содержательные формы воплощения которого заключены в границах словесного знака и который может быть представлен в виде имени, выражающего обобщенный признак [Колесов 1995: 15-16].

Основываясь на данных ряда исторических и толковых словарей, можно сказать, что слово-концепт *вера* на протяжении длительного времени (с начала письменной эпохи, по крайней мере) является центром концептуального поля, смысловые связи между элементами которого функционируют посредством некоего «механизма», где 'вера' фигурирует как нечто субстанциональное: как известно с древнерусской эпохи, ее можно *принимать, иметь, утратить*. Механизм реализации концепта константен, вне зависимости от того, идет ли речь о собственно религиозном веровании или о доверии к человеку, социальному или политическому институту и т. д.: доверять что-либо – значит передать другому (другим) нечто, являющееся исключительной личной прерогативой, естественной способностью – и правом личности, – и при этом не сомневаться в правильности этого действия, в конечном счете безусловно благотворного для доверившего(ся), верящего, верующего; разные фрагменты поля концепта демонстрируются и эксплицируются также в типичных словосочетаниях *взять (принять) на веру, потерять веру, оказать доверие, пользоваться доверием, встретить недоверие* и т. п.

Лексикографические данные показывают также, например, расширение семантики *вѣрити* – и сужение семантики *вѣровати* (с концентрацией

последней в конфессиональной сфере) в XV – XVII вв.; всё большую религиозную ориентированность *вѣрять* в XVIII в., а затем – недифференцированность значений этих глаголов в [Сл. Даля]; указанным процессам во многом подобна динамика существительного *вѣра*.

Материалы толковых словарей русского языка советской эпохи демонстрируют заметные изменения в иерархии дефиниций слов этого поля и иллюстраций к ним (вроде «вера в победу всемирной советской власти», «верить в мировую революцию» [СУ], «вера в революцию», «верить в построение коммунистического общества» [БАС₁] и т. п.). Таким образом, в государстве, основанном на атеистических принципах, обнаруживается почти мистическое отношение к доминирующей идеологии, обретающей статус чуть ли не государственной религии: сменился объект 'веры'. Иногда считают, что «русская душа» сходна с детской: «Главным и действительно уникальным достоянием ребенка является его способность верить. Именно русская детскость, способность поверить в существование несбыточного, в возможность построить коммунистический рай на земле и оказалась условием, благодаря которому «русская идея» стала социалистической практикой» [Дмитриев 1994: 12]. Но эти явления могут быть объяснены и несколько иначе: существование универсальной оппозиции сакральное/профанное поддерживается сбалансированностью бинарных компонентов; в случае возникновения лакуны в правой или левой части она заполняется – и соответствующая ниша общественного сознания не пустует. Такие процессы, вплоть до перемены мест аксиологических полюсов, происходят при радикальных идеологических и социально-политических трансформациях, имеющих своей целью утверждение новых ценностных установок в качестве господствующих.

Впоследствии, по мере развития перестройки и постперестроечных преобразований, исторически быстро сменялись объекты веры (доверия и т. п.), как и их источники (подлинные или предполагаемые) (см. подробнее [Васильев 2003: 41-44]).

Ни во время перестройки, ни после нее – равно как и в советскую эпоху – агитационно-пропагандистские политические тексты, в которых на правах ключевых присутствуют лексикализованные элементы поля 'вера', не обращаются к разуму аудитории, но, напротив, предлагают (предписывают?) ей *верить* и *доверять* кому- или чему-либо, опираясь вовсе не на знание, а на некую смутно ощущаемую *веру*, почти мистическую, не основанную ни на каком логическом фундаменте. Справедливо, что если «в канонических случаях знание предполагает существование некоего рационального источника истинной информации», то *вера* таковым не обладает: «это ментальное состояние человека, мотивированное не столько фактами, сколько имеющейся в его сознании цельной картиной мира, в которой предмет его веры просто не может не существовать» [Апресян 1995: 48]. Заметим, кстати, что противопоставление *веры* и *знания* некоторые исследователи считают «общечеловеческим» (а не узконациональным – например, исключительно русским): «... Нет ничего более характерного и симптоматичного, нежели бездна между верой и знанием, разверзшаяся в новейшее время. Противоречие между ними настолько велико, что приходится говорить о несоотнесенности обеих категорий и соответствующих им образах мира» [Юнг 1997: 222]. И всё же традиционно 'веру' считают отличительной чертой именно русской ментальности: «Простодушная, а иногда даже слепая вера нашего народа в слово (особенно печатное или авторитетно передаваемое средствами массовой информации) делает его особенно предрасположенным ко всевозможным идеологическим заражениям. Умелое оперирование определенной (лживой по замыслу) системой слов и жесткая изоляция людей от других «систем» позволяют идеологам превращать общество самостоятельно мыслящих людей в послушное стадо» [Григорьев 1998: 372].

Обратим также внимание на то, что, согласно данным [ТС-XX], в наши дни происходит активизация употребления существительного *вера* в религиозно ориентированном значении; это, возможно, свидетельствует не

столько о действительном росте религиозных настроений, сколько об отторжении и прежних официальных духовных ценностей, и о неприятии новопровозглашенных.

Следует согласиться с тем, что при делении окружающих на «своих» и «чужих» проявляется «иррациональность наших современников, может быть, большая, чем у древних людей» [Дьяконов 1990: 15]; об этом свидетельствуют многие события последних двух десятилетий. Это относится к самым разнообразным фактам – от политических кампаний до строительства финансовых «пирамид». Воистину: «Любой человек, научившись безусловно подчиняться коллективной вере..., сможет... с такой же сильной верой и не критичностью замаршировать в прямо противоположном направлении, стоит только его мнимые идеалы подменить другими, как можно более ясными и «хорошими» убеждениями» [Юнг 1997: 200].

ЗАПРЕТНЫЕ ПЛОДЫ ПРОПАГАНДЫ

Действенность публичного слова постоянно возрастает по мере совершенствования сменяющих и/или дополняющих друг друга форм и способов передачи и хранения информации: устная речь, письменность, книгопечатание, звукозапись, кинематограф, радио, телевидение...

А. С. Пушкин, рассуждая об общественной роли писателей, «класса, самого малочисленного из всего народонаселения», заметил: «Очевидно, что аристократия самая мощная, с а м а я о п а с н а я – есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки... Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же

его овладеть вами совершенно» [Пушкин 1978, VII: 206]. Здесь очень взвешенно сочетаются высокая оценка значимости писательского труда – в том числе текстов как импульсов революционных катаклизмов, – и предостережение обществу (по крайней мере, читательской аудитории): сохранять способность здравого самостоятельного мышления, не подчиняя его всецело «властителям дум».

Напомним и суждения Л. Н. Толстого, который, размышляя о возможных целях европейских войн начала XIX столетия, рассматривал, в частности, и такой вариант: «Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты» [Толстой 1981, VII: 249]; ср. далее, в характеристике якобы отвечающей на эти вопросы «новой истории» (между прочим, поставившей своими целями «блага французского, германского, английского и, в самом своем высшем отвлечении, цели блага цивилизации всего человечества, под которым понимаются обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок большого материка» [Толстой 1981, VII: 310] – как выразились бы сегодня, это носители «общечеловеческих ценностей» и их «цивилизованные государства»): «Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце 18-го столетия в Париже собралось десятка два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих» [Толстой 1981, VII: 311]. И далее: «Только в наше самоуверенное время популяризации знаний, благодаря сильнейшему орудью невежества – распространению книгопечатания, вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой нет и не может быть самого вопроса» [Толстой 1981, VII: 339].

Особого упоминания заслуживает – как орудие информационно-психологической войны – нелегальная литература (именуемая также «тайной», «потаенной», «тайнопечатной», «самиздатом» и т. п.) и ее распространение в стане противника как целенаправленный приём его

деморализации и саморазоружения. Ср.: «Теперь, заключенный на четыре года за небольшое участие в той общей тогдашней смуте, которая собственно основывалась на слепой вере в печатное, и особенно тайнопечатное слово, Писарев из крепости писал о «Что делать?» по мере того, как роман появлялся в «Современнике», получаемом им» [Набоков 1990, 3: 249].

Следует сказать, что эффект «тайнопечатного слова» как «запретного плода», особого рода средства воздействия на массовую аудиторию в целях её идеологической обработки, хорошо известен, по крайней мере, со времен Великой французской революции [Кара-Мурза 2002: 243].

Прежде всего, имеет большое значение сам факт печатного воплощения какого-либо текста. А. С. Пушкин заметил, что «самое неосновательное суждение получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё еще *печатный лист кажется святым*. Мы всё думаем: как может быть это глупо или несправедливо? ведь это же напечатано!» [Пушкин 1978, VII: 138]. Кроме того, растиражированный текст способен воздействовать единовременно на значительную читательскую аудиторию: «Действие человека мгновенно и одно (*isole*); действие книги множественно и повсеместно» [Пушкин 1978, VII: 207]. Кстати, сам великий поэт высказался в пользу цензуры как необходимого атрибута цивилизации: «Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом» [Пушкин 1978, VII:207].

Однако же в истории отечественной словесности и общественной мысли насчитывается множество примеров того, как в центре внимания читающей публики оказывались произведения либо запрещенные, либо неподцензурные – и ставшие популярными вовсе не по причине высокой талантливости их авторов.

Так, сочинение француза А. де Кюстина «Россия в 1839 году» (весьма нелестное для объекта описания), по свидетельству А. И. Герцена, «перебывало во всех руках», несмотря на то, что было запрещено в России [Ашукин 1986: 643].

По поводу книги другого известного француза существует нечто вроде анекдота: «Не успел роман [Дюма «Записки учителя фехтования»] выйти в свет, Николай Павлович его запретил. Естественно, этот французский роман сразу же переслали декабристам в Сибирь ... Немедленно этот роман захотела прочесть императрица Мария Федоровна, ... возлежит, а лектрисса ей вслух читает. В этот момент шум, шаги. Книжку – под подушку. Входит император. «Что вы здесь делаете?» – «Читаем». – Молчание. – «Можете не отвечать. Я знаю, что вы читаете». – «?!» – «Вы читаете «Учителя фехтования». Это самый последний роман, который я запретил». Во все времена запрет – это лучшее побуждающее действие» [Есин 2002: 558-559].

Показательна в этом отношении судьба стихотворения Н. П. Огарёва 1868 г. «Студент» (довольно средних поэтических достоинств) [Огарёв 1977: 197]. Впервые опубликованное в листовке, изданной в 1869 г. в женевской типографии, оно было посвящено памяти друга Огарёва и Герцена С. И. Астракова, но, по настоянию М. А. Бакунина, имя Астракова было снято и заменено именем революционера-анархиста С. Г. Нечаева. Уже с этим посвящением стало известным Ф. М. Достоевскому, который спародировал его в романе «Бесы» [Елизаветина 1977: 415]. Стихотворение «Студент» было оглашено на процессе участников «Народной расправы» и включено в судебные стенографические отчеты, опубликованные в официальном «Правительственном вестнике» от 10 июля 1871 г.; С. Г. Нечаев также издал «Студента» и в своем журнале «Народная расправа». Написанная же Ф. М. Достоевским пародия «Светлая личность» (в соответствии с вероятным замыслом автора и по оценке одного из прозревающих персонажей романа, «самые дряннейшие стишонки, какие только могут быть» [Достоевский 1957,

7: 577]), «неожиданно», как считают позднейшие комментаторы, но на самом деле – вполне предсказуемо, «оказалась использованной революционерами для целей противоправительственной агитации: она была размножена и ходила по рукам в качестве революционной прокламации. В ответ на соответствующий запрос начальника III отделения Потапова министр внутренних дел Тимашев разъяснял, что «на означенное стихотворение не было обращено цензурой особого внимания... потому, что оно было напечатано в «Русском вестнике» не отдельно, – в каковом виде оно действительно не могло бы быть терпимо в русской печати, – а помещено в романе «Бесы» как документ, характеризующий образ мыслей и приемы зловерных пропагандистов» [Евнин 1957: 751 – 752].

СТУДЕНТ

Он родился в бедной доле,
Он учился в бедной школе,
Но в живом труде науки
Юных лет он вынес муки.
В жизни стала год от году
Крепче преданность народу,
Жарче жажда общей воли,
Жажда общей, лучшей доли.

И гонимый мезтью царской
И боязнию боярской,
Он пустился на скитанье,
На народное воззванье,
Кликнуть клич по всем крестьянам -
От Востока до Заката:
«Собирайтесь дружным станом.
Станьте смело брат за брата –
Отстоять всему народу

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Он незнатной был породы
Он возрос среди народа,
Но, гонимый мезтью царской,
Злобной завистью боярской,
Он обрек себя страданью,
Казням, пыткам, истязанью
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу.

И, восстанье начиная,
Он бежал в чужие края
Из царева каземата,
От кнута, щипцов и ката.
А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.

Свою землю и свободу».

Жизнь он кончил в этом мире –
В снежных каторгах Сибири.
Но весь век нелицемерен –
Он борьбе остался верен.
До последнего дыханья
Говорил среди изгнания:
«Отстоять всему народу
Свою землю и свободу».

[Огарёв 1977: 197]

Ждал его он поголовно,
Чтоб идти беспрекословно
Порешить вконец боярство,
Порешить совсем и царство,
Сделать общими именья
И предать навеки мщенью
Церкви, браки и семейство -
Мира старого злодейство!

[Достоевский 1957, 7: 368-369]

(текст Достоевского разбит нами на строфы для более наглядного сопоставления с прототипом – А. В.)

По мнению одного из персонажей романа «Бесы», запоздало осознавшего пагубность революционного нигилизма, «вся тайна их [«беззаконных бумажек», т. е. прокламаций] эффекта – в их глупости!.. Это самая обнаженная, самая простодушная, самая коротенькая глупость... Но... никто не верит, чтобы это было так первоначально глупо. «Не может быть, чтоб тут ничего больше не было», – говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками, – эффект достигнут!» [Достоевский 1957, 7: 505].

А ведь и сам Верховенский-старший когда-то написал некую поэму, «ходившую по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. ... Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме ... Эту-то поэму и сочли тогда опасною... Вдруг ... печатают нашу поэму там, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича ... Он был сначала испуган ..., волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно» [Достоевский 1957, 7: 10-11].

Гораздо позднее, во второй половине 20 в., в некоторых кругах советского общества становятся популярными «самиздат» (нелегальное тиражирование и распространение литературы, запрещенной в СССР по идеологическим соображениям; сами произведения, тиражируемые и распространяемые нелегально [ТССРЯ 2001: 693]) и «тамиздат» (совокупность зарубежных издательств как место издания русскоязычных произведений, которые не могли быть опубликованы в России по идеологическим, цензурным и другим соображениям [ТССРЯ 2001: 769]; так же обозначалась и соответствующая печатная продукция). И «самиздат», и «тамиздат» объединяло и их антисоветское содержание, и нелегальность каналов распространения, и официальная запрещенность как особый стимул читательского интереса; собственно художественные достоинства текстов играли роль весьма незначительную. Ср.: «... Бывают стихотворные тексты, оставляющие нас совершенно равнодушными, пока их не положат на музыку. ... Для книг соцреализма такой музыкой были шумная пропаганда и реклама, хвалебные статьи, экранизации, инсценировки, включения в школьную программу. А для андеграунда такой же музыкой были разгромные статьи, бульдозерные атаки режима, слепые машинописные копии, глушение по радиоголосам... И в первом, и во втором случаях сам текст играл роль второстепенную» [Поляков 2005: 118].

Впрочем, повторим: последнее обстоятельство не помешало расцвету «самиздата» как особого средства информационно-психологической войны, начиная с 1960-х годов: «К 1975 г. ЦРУ разными способами участвовало в издании на русском языке более чем 1500 книг русских и советских авторов ... Захват и присоединение аудитории достигался ... искусственно созданной приманкой – запретностью текста, так что авторы, издатели и распространители обращались к нонконформистским, диссидентским стереотипам в сознании» [Кара-Мурза 2002: 243-244].

Конечно, «запретный плод» может быть преподнесен не в меру доверчивому и малоискушенному потенциальному потребителю и в иной

форме: ср. эффект тиражировавшихся в неофициальной звукозаписи творений самодельных «бардов» (они же – «авторы-исполнители»). Ведь зачастую чем-то, кроме полузапретности («потаенности»), трудно объяснить сегодня их широкую популярность в 60-е – 80-е гг. XX века.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Великий русский мыслитель очень точно описал вербально-манипулятивные операции, проводимые по отношению к аудитории прессой (называя их эффект «эпидемическими внушениями, которым всегда подвергались и подвергаются люди» [Толстой 1983, XV: 302]). «С развитием прессы эпидемии эти сделались особенно поразительны... Как скоро какое-нибудь явление ... получает хоть сколько-нибудь выдающееся против других значение, так органы прессы тотчас же заявляют об этом значении... Публика обращает на него ещё больше внимания. Внимание публики побуждает прессу внимательнее и подробнее рассматривать явление... Интерес публики еще увеличивается, и органы прессы, конкурируя между собой, отвечают требованиям публики... Важность события, как снежный ком, вырастая все

больше и больше, получает совершенно несвойственную своему значению оценку..., часто до безумия... Явилось подозрение, что какой-то капитан французского штаба виновен в измене... Органы прессы, соревнуясь между собой, стали описывать, разбирать, обсуживать событие, публика стала еще больше интересоваться, пресса отвечала требованиям публики, и снежный ком стал расти, расти и вырос на наших глазах такой, что не было семьи, где бы не спорили об l'affaire... И только после нескольких лет люди стали опоминаться и понимать, что они никак не могли знать, виновен или невиновен, и что у каждого есть тысячи дел, гораздо более близких и интересных, чем дело Дрейфуса» [Толстой 1983, XV: 302-303].

Можно предположить, что тексты СМИ обладают достаточно предсказуемым (даже и для их авторов и распространителей) эффектом. Однако, с учетом очевидной неоднородности аудитории, степень производимого информацией эффекта может варьироваться весьма широко. Ср. рассказ А. П. Чехова «Психопаты», персонажи которого в результате подробнейшего обсуждения вычитанных ими из газет политических, криминальных и прочих сообщений оказываются полностью деморализованными, близкими к истерике. Одна из явных причин этого – в том, что «оба трусы, малодушны и мистичны; душу обоих наполняет какой-то неопределенный, беспредметный страх, беспорядочно витающий в пространстве и во времени: что-то будет!!» [Чехов 1955, 3: 447]. Но именно такое мироощущение и самооценка потребителей СМИ и формируются последними.

С появлением радио «эпидемии» в массовом сознании приобрели качественно иной масштаб: ведь для потребления информации, распространяемой через радиоканалы, вовсе не обязательно быть грамотным. Таким образом, аудитория, подвергаемая вербально-манипулятивной обработке (причем синхронно), чрезвычайно расширилась. Насколько эффективными стали теперь информационно-психологические потенции нового СМИ, можно судить по хрестоматийному примеру – радиопостановке

«Вторжение с Марса» (по роману Г. Уэллса «Война миров»), осуществленной в 1938 г. в США. Режиссер О. Уэллс сделал инсценировку максимально достоверной: в виде прямых репортажей с места события, с соответствующим шумовым сопровождением, с имитациями выступлений высоких официальных лиц, включая обращение президента Рузвельта, и т. п. При этом и перед началом передачи, длившейся всего час, и по её окончании диктор информировал слушателей о её литературно-художественном характере. Однако множество американцев было охвачено паникой [Кукаркин 1974: 261-263; Кара-Мурза 2002: 158-159; Калашников 2007: 58-59 и др.]. Для американского радио эта постановка стала некоей «точкой перелома», после которой резко усилились его нивелирующая коммерциализация и одновременно – заостренная политизация» [Кукаркин 1974: 262].

Ситуация в СМИ кардинальным образом изменилась с появлением и распространением телевидения, существенно дополнившим суггестивный эффект вербального текста за счет видеоряда. Возникло абсолютно новое игровое пространство, ср.: «Арена, игровой стол, магический круг, храм, сцена, киноэкран... – все они, по форме и функции, суть игровые пространства, то есть отчужденная земля, обособленные, выгороженные, освященные территории, где имеют силу свои особые правила. Это временные миры внутри мира обычного, предназначенные для выполнения некоего замкнутого в себе действия» [Хёйзинга 1977: 29]. Однако можно ли – применительно к телевидению – говорить, например, о некоем замкнутом пространстве (материальном или идеальном), внутри которого вступает в дело игра и царят ее правила [Хёйзинга 1997: 38]? Телевидение, которое одинаково удачно транслирует действительность – и имитирует её, почти совершенно стирает грань между реальностью и вымыслом (а ведь пересечение всякой грани – например, рубежа между двумя исключаящими друг друга состояниями – сознаётся как акт сакральный [Поршнева 1973: 12]). Более того, генерируются психические

феномены, описываемые, например, так: «Смене изображения на экране в результате различных техномодификаций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который заставил бы наблюдателя переключать внимание с одного события на другое и выделять наиболее интересное из происходящего, то есть управлять своим вниманием так, как это делает за него съемочная группа. Возникает виртуальный субъект этого психического процесса, который на время телепередачи существует вместо человека, входя в его сознание как рука в резиновую перчатку. ... Для человека, смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального субъекта нет. Чувства и мысли, выделение адреналина и других гормонов в организме зрителя диктуются внешним оператором и обусловлены чужим расчетом... Быстрое переключение телевизора с одной программы на другую, к которому прибегают, чтобы не смотреть рекламу, называют Zapping... Подобно тому, как телезритель, не желая смотреть рекламный блок, переключает телевизор, мгновенные и непредсказуемые техномодификации изображения переключают самого телезрителя. Переходя в состояние Homo Zapiens, он сам становится телепередачей, которой управляют дистанционно. И в этом состоянии он проводит значительную часть своей жизни» [Пелевин 1999: 104-106].

Примитивный, «одномерный» продукт, который в результате этого получается из аудитории, хорошо описан Р. Брэдбери в его романе «451⁰ по Фаренгейту», большинство персонажей которого настолько увлечено перипетиями псевдожизней героев телепостановок (сегодня их назвали бы телесериалами или реалити-шоу), что совершенно не обращает внимания ни на своих близких, ни на реальную действительность – в которой, между прочим, неотвратимо назревает ядерная война.

Впрочем, не относится ли уже сегодня к российскому телевидению по крайней мере многое из того, что писали американские авторы об американском же телевидении (т. е. о СМИ наших победителей в информационно-психологическом противостоянии)? Ср. разделенные

четвертью века оценки: «Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше – ни одной... Если правительство плохое, ни черта не понимает, душит народ налогами – это все-таки лучше, чем если народ волнуется... Устраивайте разные конкурсы, например, кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начинайте их безобидными фактами, пока их не затошнит, – ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы ... Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексы! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна ... – ударьте мне по нервам оглушительной музыкой!» [Брэдбери 1992: 52-53] – и: «...Не стерпел только чертова этого ее телевизора. В нем корень зла... Я две недели сидел по вечерам и смотрел его – без предубеждения, как присяжный на суде. Я даже готов признать, что видел две или три передачи более или менее безвредные. Но в целом утверждаю, что это грязь и порок: убийцы, насильники, наркоманы, волосатики, лошади, полицейские. Плеваться устаешь. Женщины с микрофоном, чуть не голые, руки эдак томно тянут, зубищи свои блестящие скалят и поют песни – уж такие дурацкие, глупее не придумаешь, все больше про постель. Викторины, когда у них там люди из кожи лезут, чтобы только получить деньги. Последние известия – с одного на другое перескакивают, ну прямо цирк какой-то. И бестолковщина, как в брошюре про укрепление здоровья. ... Толкуют, что гомосексуалисты – такие же нормальные люди, как и мы с вами» [Гарднер 1981: 203].

Изобретение и распространение электронных СМИ, для потребления продукции которых, что немаловажно, слушателю либо зрителю совершенно необязательно уметь читать, открыло перед политиками и политтехнологами

просторное поле деятельности. Любопытно, что в последнее время в России растёт количество названий и тиражей печатной периодики, посвященной в основном или полностью телепередачам: их программам, персонажам, включая увлекательные рассказы о личной жизни «звезд», предварительные конспективные изложения грядущих выпусков нескончаемых сериалов и прочие ценные сведения, сугубо необходимые для культурного развития аудитории; здесь-то и находит себе применение её грамотность. Столь же знаменательна растущая популярность аудиозаписей текстов, изначально известных в их типографском воплощении.

«Человек, регулярно смотрящий телевизионные программы определенной направленности или читающий ежедневно одну и ту же прессу, не способен на объективность. Он против своей воли уже стал функцией, через которую материализуются просмотренные им передачи и прочитанные статьи» [Расторгуев 2003: 235].

В более широком смысле жертва информационного подавления – это «бывший человек, именуемый зомби; его система управления по определению полностью ориентирована на выполнение чужой воли» [Расторгуев 2003: 270].

Однако гораздо большую угрозу для собственного государства и народа представляют собою политические зомби, находящиеся в верхних эшелонах системы управления страной: «СССР в последние годы своего существования и последующая Россия являют собой в этом смысле очень наглядный пример» [Расторгуев 2003: 270] (впрочем, в этих случаях вряд ли можно говорить о том, что руководящие советско-российские «зомби» возникли действительно только как продукты «информационного подавления»).

Небезосновательны следующие оценки, сохраняющие свою актуальность: «Телевидение за последние годы превратилось в одно из самых эффективных средств управления страной (т. е. Россией)» [Новости. ОРТ. 07. 02. 98]. «По словам агентства Интерфакс, президент Борис Ельцин

считает, что средства массовой информации являются четвертой властью и относятся к силовикам» [Доброе утро. ОРТ. 25. 12. 98]. Напомним, кстати, что войска НАТО, выбирая цели для ракетно-бомбовых ударов по Югославии, в качестве мишеней первостепенной важности, кроме невоенных объектов, рассматривали теле- и радиостанции, считая, что «средства массовой информации наиболее опасны» для агрессора [Доброе утро. ОРТ. 09. 04. 99]. То же самое натовский альянс проделал и летом 2011 г. – но уже по отношению к теле- и радиовещательным станциям ливийского (законного) правительства. Ср. следующую иерархию ролей тех, кто беззаветно должен ратовать за счастье народное (построенную явно по степени убывания их значимости): «От СМИ, органов государственной власти, науки и системы образования, общественных организаций и гражданских движений, от федеральных концепций и программ, наконец, от самих себя мы вправе ожидать расширения мобилизационных усилий по целенаправленной поддержке современных трансформационных процессов» [Губогло 2002: 36].

На Западе роль СМИ осмыслена давно: «Поскольку ни одно правительство не может удержаться у власти, не обеспечив или не сохранив поддержку населения, законодатели и закон, стоящие на страже статус-кво, должны приспособлять мировоззрение своих граждан к беспрестанно меняющейся политической и экономической обстановке. Политическое кондиционирование означает выработку взглядов, идей, привычек, традиций, которые станут служить интересам тех, кто направляет процесс кондиционирования. Технология и обработка этого процесса в наши дни по своей эффективности и разнообразию не знает равных в истории. При нынешних средствах связи государство способно добраться до своих граждан в любое время дня и ночи...» [Нириг 1966: 125].

Можно с уверенностью говорить о том, что сегодня между дискурсом СМИ и дискурсом политическим весьма много общего. Эта общность сказывается и в их взаимообратимости: политические намерения

реализуются (в приличествующем оформлении) через каналы СМИ («канализируются»), а СМИ как таковые поддерживаются различными политиками (в соответствии с имеющимися у них властными и финансовыми возможностями). Поэтому СМИ всё более настойчиво выступают в роли политизатора масс, далеко не всегда откровенно (но ведь и политики иногда тоже предпочитают открыто не заявлять о своих истинных целях), чему способствует разножанровость передач. Интенции творцов и медиа-, и политдискурса зачастую не эксплицируются в соответствующих текстах, поэтому значительная часть аудитории, кажется, прочно уверовала в мифическую деидеологизированность российских СМИ, что заведомо делает успешными любые пропагандистские операции, основанные на манипулятивном использовании ресурсов языка и служащие для контроля над мышлением и поведением масс. «Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? На чем основано?» [Прутков 1976: 138].

Успех телевидения как наиболее действенного информационного оружия объясняется несколькими его взаимосвязанными особенностями: тенденцией к «визуализации» («Мир таков – смотрите сами!»), сиюминутностью и быстротечностью информации, напористой идеологизированностью и политическим пристрастием, возникновением специфического языка, простотой восприятия текстов [Артамонова, Кузнецов 2003: 36]. Важную роль играют и другие, во многом общие для разных видов СМИ факторы, например, единство системы идеологического воздействия (сообщения основываются на данных, предоставляемых разным СМИ одними и теми же информационными агентствами; для адресата достоверным оказывается то, что многократно повторяется различными источниками); неспособность адресата критически оценивать получаемый им текст; принудительность содержания (стимулируемое стремление адресата «быть в курсе событий» и несомненно лестное для него самого ощущение собственного активного участия в формировании так называемого

общественного мнения – «И вот общественное мнение!» [Грибоедов 1964: 111]); отсутствие возможности адресата вступить в полноценный диалог со СМИ (см. [Волков 2003: 62-63]).

При этом верификация сообщений СМИ в абсолютном большинстве случаев совершенно невозможна. Скажем, даже ведь и о том, что именно Б. Ельцин выиграл президентские выборы 1996 года («в безумии необъяснимом страна умудрилась избрать Ельцина ... Всё решила ложь» [Константинов 2001: 189]), электорат узнал из сообщений СМИ. Что произошло в действительности, каким образом был достигнут этот эпохальный и, увы, судьбоносный результат – для аудитории СМИ так и осталось неизвестным (ср. [Леонтьев 2003: 76]).

Дезориентация, частые (и при этом как будто малообъяснимые) колебания «общественного мнения» совершаются под влиянием СМИ, постоянные персонажи которых также не отличаются устойчивостью позиций. «Возьмите подшивку любой газеты года за два, полистайте и почитайте подряд комментарии какого-нибудь улыбчивого политолога, возможно, даже президента шикарного фонда. По мере чтения у вас может возникнуть подозрение, что никакой он не аналитик, а проходимец, зарабатывающий на озвучивании мнений, порой противоположных, но выгодных в данный момент тому или иному политическому клану... Стыдить человека за то, что ему в голову приходят исключительно хорошо оплачиваемые мысли..., бесполезно. Но как же тогда быть с нашим правом на объективную информацию?» [Поляков 2005: 423-424]. Точно так же определяется и степень приверженности харизматических личностей (точнее, сделанных таковыми с помощью информационно-психологических операций через те же СМИ) ранее декларировавшимися ими идеалам; ср., например, уведомление российского президента американскому: «Я давно сбросил красный пиджак» (то есть отказался от коммунистических «убеждений») [интервью Б. Ельцина. Останкино. 11. 07. 94]. Высокая принципиальность речедеятелей-политиков подкрепляется профессиональными усилиями

работников телевидения, иногда характеризуемых следующим образом: «Степень духовной извращенности этих людей давала возможность допустить, что кто-то из них даже любит свою работу» [Пелевин 1999: 72-73].

Вполне обоснованна, таким образом, точка зрения философа, полагающего, что «господствующим стилем мышления в СМИ является иррационализм. Фактически понятие истины используется в значении «то, с чем согласно большинство» или в значении «то, что полезно». Это проявляется в характере аргументации. Для доказательства какого-то утверждения апеллируют к мнению аудитории, к традиции и к утилитарному смыслу. А часто аргументация почти полностью заменяется ложными доводами» [Нескрябина 2007: 109].

«Человек недоумевающий – замечательный материал для социально-нравственной инженерии» [Поляков 2005: 219]: его легко заставить поверить во всё что угодно. Это и происходит в ходе информационно-психологической войны, в том числе – и на внутреннем её фронте.

И дискурс СМИ, и политический дискурс сегодня аргументированно рассматривают как относительно ограниченные и обладающие собственной спецификой речевые образования. Так, полагают, что, наряду с двумя основными сферами коммуникативной практики общества, кодифицированной литературной речи и разговорной речи, «на наших глазах происходит формирование третьего речевого массива – *речевой системы СМИ*» [Коньков 2002 : 76]. Справедливо, что и «политический язык воспринимается как *особая система национального языка* [курсив наш. – А.В.], предназначенная для политической коммуникации» [Чудинов 2003 : 11].

Однако объективно существует ряд признаков, объединяющих медиа-дискурс и политдискурс по общности критериев, которые можно лишь конвенционально назвать экстралингвистическими, поскольку так или иначе они связаны с самой сущностью языка в многообразии выполняемых им

функций, в его психической и социальной обусловленности, с его до конца еще не осознанным и не исчерпанным потенциалом – который, однако, успешно используется в манипулятивных целях: «Слово – полководец человеческой силы».

Понятно, что любому политику необходимы трибуна и аудитория, чтобы представить («позиционировать») свою персону и декларируемые лозунги наилучшим, – то есть наиболее выгодным для себя образом. При всем последовательном совершенствовании технологий передачи информации кодируется и декодируется она всё же неизменно: с помощью языковой способности.

Кроме того (и это, разумеется, следует постоянно учитывать), именно по мере технических эволюций СМИ, позволяющих доводить информацию до сведения всё большего количества адресатов, причем одновременно, политик расширяет сферу своего влияния на социум – вроде бы приближаясь к массам. Однако дистанция между коммуникантами на самом деле увеличивается, уподобляясь пропасти.

Коммуникация становится почти абсолютно односторонней: политик вещает, огромная аудитория внимает. Даже так называемые «прямые линии» разных уровней и прочие интерактивные действия производят обычно впечатление более или менее удачных эрзацев реального общения. Поскольку аудитория укрепляется в ощущении своего статуса пассивно-безответной массы, то и оратор-политик, даже если и рассчитывал когда-то на «обратную связь» с аудиторией, теперь вполне может удовлетвориться имитацией этой связи. Довольно затруднительно напрямую связывать подобные феномены, а тем более – ставить их в зависимость от конкретного типа государственного устройства, именуемого (впрочем, довольно субъективно) тоталитаризмом или демократией. «Если в условиях буржуазного общества главной функцией массовой коммуникации является социальная манипуляция общественным сознанием, адаптация населения к стандартам и канонам буржуазного образа жизни, то в условиях социализма

массовая коммуникация становится важнейшим рычагом массовой информации и пропаганды, коммунистического воспитания и, в конечном счёте, эффективным средством самоориентации» [Ножин 1974 : 8]. Таким образом, в любом случае через каналы СМИ реализуются («канализируются») замыслы политиков (то есть намерения социальных макро- и микрогрупп, интересы которых эти деятели представляют по тем или иным причинам), что, в то же время, повышает престиж СМИ, создает у аудитории представления об их высочайших возможностях в процессах управления государством. Надо учесть и то обстоятельство, что в депутатском (и чиновничьем) корпусе довольно значителен удельный вес тружеников СМИ, прежде всего телевидения, включая бывших дикторов. Вспомним, что еще недавно Алтайский край возглавлялся эстрадным артистом Михаилом Евдокимовым, а, например, в Белгородской области депутатом от ЛДПР избрана 25-летняя Маша Малиновская, «бывший секс-символ MTV», заявляющая: «У меня, может быть, нет таланта, но есть огромное желание... оставить после себя что-то, кроме фотографий с обнаженной грудью» [Частные истории. Rep TV. 27. 01. 07]. В глазах электората происходит олицетворенное слияние масс-медиа и политики.

ТОРЖЕСТВО ИРОНИЗАЦИИ

Одним из наиболее ярких воплощений игр в слова является ирония. Это «троп, состоящий в употреблении слова в смысле обратном буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка, нарочито облеченная в форму положительной характеристики или восхваления» [Ахманова 1966: 185].

Ирония может быть успешно использована в манипулятивных целях: ведь «игра оборачивается серьезностью и серьезность – игрою» [Хёйзинга 1997: 28]. Вероятно, решающая роль здесь принадлежит столкновению ассоциаций, устойчиво закрепленных за определенными словами, при необычном их использовании (нарушение традиционной сочетаемости, изменение привычного жанрово-стилевого регистра употребления и т. п.).

«Основные законы образования рядов представлений – это ассоциация и слияние. Ассоциация состоит в том, что

разнородные восприятия, данные одновременно или одно вслед за другим, не уничтожают взаимно своей самостоятельности..., а, оставаясь сами собою, слагаются в одно целое... Слияние ... происходит тогда, когда два различных представления принимаются сознанием за одно и то же. ... Посредством слияния образуется связь между такими представлениями, которые первоначально не были соединены ни одновременностью, ни последовательностью своего появления в душе» [Потебня 1976а: 136].

Собственно, ирония вполне соответствует одному из критериев манипуляции – наличию двойного воздействия: «наряду с посылаемым открыто сообщением манипулятор посылает адресату «закодированный» сигнал, надеясь на то, что этот сигнал разбудит в сознании адресата те образы, которые нужны манипулятору» [Кара-Мурза 2002: 99].

Гипертрофированный характер языковой игры в текстах сегодняшних СМИ (проявляющейся, в частности, в свержизобилии иронии), целью которой считают обычно привлечение внимания адресата, следует объяснять прежде всего экстралингвистическими факторами.

Стоит вспомнить, во-первых, о тех социокультурных реалиях и артефактах, которыми ознаменовались годы перестройки и начала великих реформ, освященные странноватым по содержанию лозунгом «Разрешено всё, что не запрещено»: обилие сообщений о разного рода пришельцах, мутантах и прочих монстрах; реклама «оздоровительных гастролей» американских проповедников (бог знает каких религий) – и отечественных экстрасенсов; пропаганда эзотерики и шаманизма; скоропостижное воцерковление многих высокопоставленных бывших верных ленинцев; заявления об отсутствии какого бы то ни было внешнего противника (при наличии «противников перестройки», «засевших партocrats» и прочих врагов народа, то есть неприятелей реформ); появление терроризма – и всплеск преступности, программа «500 дней» – и финансовые пирамиды, лихорадочная приватизация, демократизация, либерализация цен – и дефолт...

«Было высочайше объявлено, что главное и единственное препятствие к достижению всеобщего благосостояния – седовласый монстр по фамилии Лигачёв. ... Не было смысла работать, если с экранов и газетных страниц истерически обещали, что все вот-вот и так станут получать, «как там» ... Стоит только повесить Лигачёва. И отменить шестую статью Конституции. Лигачёва, правда, не повесили, но статью в конце концов отменили. А заодно, чуть попозже, – Советский Союз, старые цены, старую мораль и, под горячую руку, должно быть, еще и здравый смысл...» [Бушков 1996: 34].

В общем, поводов для «насмешки горькой» стало более чем достаточно. Однако внимание журналистов-иронистов по-прежнему осталось сконцентрированным преимущественно на предыдущем (советском) периоде отечественной истории. Вероятно, ведущие позиции иронии в текстах СМИ начала перестройки и последующих лет объясняются не только тем, что «отмена цензуры, идеологических табу, строгих стилевых установок привели к раскрепощению традиционно-нормированного газетного языка. И многие процессы, происходящие в этот период в обществе и отражаемые языком прессы, можно объяснить как реакцию на газетный язык недавнего прошлого, как отрицание его, отталкивание от него» [Солганик 2002: 50]. Конечно, и это верно, но дело всё же не только в смене стилевых установок: последняя понадобилась лишь как форма выражения новейших политических веяний. «В середине 80-х годов сложилась уникальная ситуация, когда еще обеспеченная государственными гарантиями система СМИ активно включилась в демонтаж главной опорной системы советского государства – коммунистической идеологии... Идеологи реформ первого призыва с помощью средств массовой информации сумели заново переоценить восьмидесятилетнюю историю страны, подготовить людей к восприятию новой системы ценностей. Журналисты первыми... подхватили лозунги перестройки и «понесли их в массы», подогревая общественные ожидания» [Музалевский 2007: 290].

Вот именно в этих обстоятельствах (по существу, в момент обострения информационно-психологической войны) ирония (как «переносное значение, основанное на полярности семантики, на контрасте, при котором исключается возможность буквального понимания сказанного» [Клушина 2003: 287]) стала чрезвычайно популярной. Активно используя и прецедентные тексты недавнего советского прошлого, формируют двуплановость текста: «ирония как бы узаконивает двойственность, параллельность смыслов, а значит, и двуплановость восприятия... Ирония скрывает за собой социальную оценку даже при кажущейся объективированной подаче фактов» [Клушина 2003: 288].

Неоднократно и вполне квалифицированно рассматривал социально-пропагандистские интенции и эффекты всепоглощающей и всеразъедающей иронической волны в СМИ последних советских, а также постсоветских лет Ю. Поляков (которого, кстати, самого вполне аргументированно называют классиком современной иронической прозы – например, [Крымова 2006: 422]). Интересно, между прочим, наблюдать, как менялись его оценки этих феноменов по мере хронологии событий, охватывавших страну: сначала – СССР, затем – Россию...

«Мое поколение страдает «вселенской иронией». Но ведь энергия духа, ушедшая на разрушение миражей, могла пойти на созидание. Ирония не может быть мировоззрением народа, она не созидательна» [Поляков 2005: 26]. – «За последние годы ирония из средства самозащиты превратилась в важный и весьма агрессивный элемент государственной идеологии... Можно взглянуть на это и с точки зрения управляемых процессов. Заставить общество забыть о своем прошлом, а лучше даже возненавидеть его – задача любой революции, особенно если воплощение её идеалов в жизнь идет неважнецки... Смысл юмористических и сатирических произведений... за последние годы: какая постыдно смешная жизнь была у нас ДО, как нелепы люди, тоскующие о прошлом, как омерзительны те, кто пытается сопротивляться тому, что наступило ПОСЛЕ» [Поляков 2005: 85-86]. –

«Основной метод управления, используемый «четвертой властью», – метод полуправды, полужитаты, полуухмылки, полуинформации» [Поляков 2005: 206]. – «Эмоциональное и информационное насилие над нами осуществляется разными способами. Но из всех способов важнейшим является ирония. Тотальная ирония. Отсюда пародийный модус повествования, усвоенный современным нашим ТВ» [Поляков 2005: 227].

Весьма характерны в этом отношении российские телепередачи, по явному недоразумению именуемые «юмористическими» (ср. «Аншлаг», «Кривое зеркало» и т. п.). Тиражируемые телевидением тексты местечковых скетчистов чрезвычайно многочисленны и как-то натужно веселы (что – на общем малорадостном фоне – невольно заставляет вспомнить классическое: «восславим царствие Чумы»); при этом они, как правило, довольно однородны во многих отношениях: и тематически, и словесно, и по манере сценического исполнения. Каждое из подобных произведений – и, конечно, вся их совокупность – направлены на переориентацию аксиологических координат социума, низведение его духовных потребностей до уровня удовлетворения физиологических инстинктов: в этом они готовы, по выражению Гамлета, «Ирода переиродить» [Шекспир 1960, 6: 75] (то же можно сказать о многих присяжных публицистах перестроечно-реформаторского периода: «А уж Тряпичкину, точно, если кто попадётся на зубок, – берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит» [Гоголь 1966: 84]).

Еще из пророческого романа Ф. М. Достоевского известно, что «во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе... Дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное...» [Достоевский 1957, 7: 481]. Запоздало прозревший персонаж того же романа говорит: «Весь закон бытия

человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться перед безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии» [Достоевский 1957, 7: 690-691] – ср.: «Информационное же оружие можно применять как раз для уничтожения в человеке именно этой связи с «безмерно великим». После этого до идеи самоуничтожения он дойдет сам» [Расторгуев 2003: 192]. Собственно, в своей совокупности именно на это направлены творческие устремления русскоязычных «юмористов».

Любопытны, между прочим, некоторые аналогии в конкретных действиях их – и их литературных прототипов.

Среди прочих «забавных штучек», придуманных одним из «бесов»-активистов Лямшиным (впрочем, «был слух, что Лямшин украл эту пиеску у одного талантливого и скромного молодого человека..., который так и остался в неизвестности»), была и «забавная, под смешным названием «Франко-прусская война». Начиналась она грозными звуками «Марсельезы»... Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг, вместе с варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко, послышались гаденькие звуки «Mein lieber Augustin», «Марсельеза» не замечает их...; но «Augustin» всё нахальнее, и вот такты «Augustin» как-то неожиданно начинают совпадать с тактами «Марсельезы»... «Марсельеза» как-то вдруг ужасно глупеет: ...это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками... Но она уже принуждена петь с «Mein lieber Augustin» в один такт. Её звуки каким-то глупейшим образом переходят в «Augustin», она склоняется, погасает... Но тут уже свирепеет и «Augustin», который переходит в неистовый рев... Франко-прусская война оканчивается. Наши [члены «кружка»] аплодируют» [Достоевский 1957, 7: 339-340].

В связи с этим эпизодом музыкально-иронического характера можно привести современную «забавную штучку» – музыкальный видеоклип русскоязычной группы «Ван моо» (видимо, от англ. one more – «еще раз»),

записанный на студии Аллы Пугачевой. Текст этого «знакового» (как принято выражаться сегодня) произведения начинался примерно так: «У меня дружок есть Ваня, он играет на баяне: по полю-полю» с рефреном: «Такие песни поем мы вместе»; рефреном второго куплета звучало уже кришнаитское «Харе Рама», а в третьем *crescendo* нарастала «Хава нагила», сопровождавшаяся соответствующим национально-танцевальным представлением, и – «Такие песни поем мы вместе!» Всё сливается в торжествующих звуках «Хава нагила»... Любопытно, что о дальнейшей творческой судьбе группы «Ван моо» ничего более неизвестно (то ли она прекратила существовать, то ли обрела наконец какую-либо историческую родину); не менее любопытно, что «забавная штучка» активно демонстрировалась разными российскими телеканалами, особенно в июле-сентябре 1993 г.

У главного героя чеховской повести, впервые опубликованной в 1893 г., высокопоставленного петербургского чиновника Орлова, «перед тем, как прочесть что-нибудь или услышать, ... всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря... Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и не щадила никого и ничего. Говорили о религии – ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни – ирония, поднимал ли кто вопрос о народе – ирония. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости. Но Орлов и его приятели не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией» [Чехов. Рассказ неизвестного человека. 1956, 7: 192, 200]. Рассказчик, обращаясь к своему герою, так определяет истоки этой вселенской иронии: «Живая, свободная, бодрая мысль пытлива и властна; для ленивого, праздного ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячам ваших сверстников, ... вооружились ироническим отношением к жизни, ... и когда вы глумитесь над идеями, которые якобы все вам известны, то вы похожи на дезертира, который

позорно бежит с поля битвы, но, чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью» [Чехов 1956, 7: 245].

Столетие тому назад А. А. Блок опубликовал статью «Ирония», где говорится, в частности: «Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается – буйством и кошунством. Я знаю людей, – которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменила невеста... Эпидемия свирепствует... Мы видим людей, одержимых р а з л а г а ю щ и м смехом... Перед лицом проклятой иронии – все равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба... И все мы, современные поэты, – у очага страшной заразы. Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне» [Блок 1955а: 80-83]. Хорошо известно, что произошло по прошествии всего нескольких лет после этой публикации с обществом, верхушка которого была разложена иронией...

Справедливо замечено, что «ирония не может быть мировоззрением народа» [Поляков 2005: 26].

Но той же «эпидемией» ознаменовались последние годы советской власти. Считают, например, что «особую роль в развенчании политической речи играл и играет жаргон и та его разновидность, которую называют словом *стёб*... Феномен ёрничества... на основе новояза свойственен, по всей видимости, всем языкам посттоталитарных обществ» [Земская 1996: 24]. Стёб в текстах СМИ определяют, например, как манеру подачи информации, при которой прямая авторская оценка событий, явлений подменяется всепоглощающей иронией: «автор надевает на себя маску ироничного, стороннего наблюдателя... Подобная манера, сохраняя видимость

многозначительной позиции, позволяет в иронически-агрессивном стиле осмеивать всё и вся» [Солганик 2003: 266].

В качестве орудия борьбы, причем не только с «тоталитарным языком», но и с государственно-политическим устройством, его культивировавшим, рассматривался также молодежный сленг, который «весьма критически, иронически относится ко всему, что связано с давлением государственной машины» и «противопоставляет себя не только старшему поколению [таким образом разорвана естественная преемственность поколений. – А. В.], но прежде всего прогнившей насквозь официальной системе» [Береговская 1996: 38] (вероятно, имелась в виду советская).

Инструментом противодействия «тоталитарному языку» объявляют и деформацию (в анекдотах и т. п.) политических прецедентных текстов, обеспечивавших реализацию идеологем и мифов недавнего прошлого; этот «универсальный прием языкового сопротивления» оценивают как конструктивный в четверостишиях И. Губермана, сверхтекст которых «характеризуется четкой авторской позицией, противопоставленной позиции официальной [т. е. советской. – А. В.]», а их создатель формирует «картину мира человека, имеющего смелость открыто предпочесть ценности традиционные идеологическим» [Купина 1995: 137] (кстати, он же «расценивает Россию как страну, «где жить невозможно», как «гиблущую почву» [Купина 1995: 125]⁷).

Время так называемой перестройки ознаменовалось непомерным насыщением телеэфира юмористическими передачами (обычно не очень высокого художественного уровня), где исполнители изощрялись по поводу советской истории – и современности, с обилием пародий – поскольку многие подобные лицедеи попросту не способны создавать собственные полноценные тексты (ср.: «Карикатуристы завидуют людям, которые живут всерьёз, и, дабы развеять свою зависть, подтрунивают над ними, издеваются, изощряясь в остроумии. А ведь остроумие – бесплодно» [Сегень 1994: 190]).

⁷ Действительно, по словам литературного персонажа, «чем было бы плохо ... в Швейцарии, где первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы» [Бабель 1989: 115]?

В общем, получилось примерно как в чеховском рассказе: «Это театр. Над его дверями ... написано: «Сатира и мораль». Здесь платят большие деньги, пишут длинные рецензии, много аплодируют и редко шикают... Храм! Но этот храм ряженный. Если вы снимете «Сатиру и мораль», то вам нетрудно будет прочесть: «Канкан и зубоскальство» [Чехов 1954, 2: 10].

Вообще время перестройки (время конструируемой демократизации – вовсе не демократии, и избирательной гласности) «характеризуется интенсивным использованием «языковой демагогии», «когда идеи, которые надо было внушить, не высказывались прямо, а навязывались исподволь путем использования возможностей, предоставляемых языковыми механизмами» [Базылев 2005: 7]. – «Одесский язык – ... это где главное мысли, а не слова» [Р. Карцев. Бенефис. РТР. 04. 01. 00]. – «Григорий Горин – человек, учивший страну смеяться над несмешными вещами» [24. RenTV. 12.03.10]. Технологически эти феномены во многом также строились на иронии («перед усмешкой мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научили нас Гейне и еврейство, ... умрет мгновенно всякий наш смех» [Блок 1955б: 86]). – «Вспомните, какой был в последнее время здесь тон?.. Ведь это обратилось в одно только нахальство, бесстыдство; ведь это был скандал с трезвоном без перерыву» [Достоевский 1957, 7: 516].

Однако подобные приемы чрезвычайно характерны для информационно-психологической войны, в которой «большинство выпадов делается только для того, чтобы увидеть реакцию противника на те или иные входные данные, осмыслить ее и, собрав по крупицам все доступные знания, создать адекватную информационную модель..., которая позволит в дальнейшем получить ответы на вопросы типа: «А что будет, если...?» и т. п. ... А потом придет ответственный наблюдатель и радостно констатирует: «Процессы приобрели необратимый характер!» [Расторгуев 2003: 342].

Наивысшим (на сегодня) достижением швидко ориентированной официальной культуры следует считать назначение – не без чьей-то санкции – М. Жванецкого «дежурным по стране» (т. е. по России): см. еженедельную

передачу с таким обнадеживающим названием на государственном российском телеканале РТР.

Вовсе не случайными оказываются и сегодня тематика и содержание текстов, выдаваемых в телеэфир под маркой юмористических. Так, следующую репризу можно было бы рассматривать всего лишь как малоудачную шутку: «Белорусские песни – как и сами белорусы: стоит услышать, уже жалко» [Вадик Галыгин. Comedy Club. ТНТ. 20. 01. 07], если не обладать кое-какими «фоновыми знаниями». А именно: в конце 2006 – начале 2007 гг. в российских СМИ произошла очередная активизация антибелорусской кампании, вызванная якобы неправомерными внешнеэкономическими шагами руководства Белоруссии, через территорию которой на Запад транспортируются энергоносители из России. Телекомпания «ТНТ» входит в состав холдинга «Газпром-медиа», непосредственно относящегося к РАО «Газпром» ... Понятно, что по поводу процитированной выше «шутки» не было никаких попыток применить Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», который в ст. 1 к «экстремистской деятельности (экстремизму)» относит, в частности, «деятельность... редакций средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на ... унижение национального достоинства; ... пропаганду ... неполноценности граждан по признаку их ... национальной ... или языковой принадлежности» [№ 114 – ФЗ от 25. 07. 02; № 148 – ФЗ от 27. 07. 06].

Впрочем, даже и те из телевизионных текстов, которые подчеркнута подаются как не связанные с политикой, на самом деле представляют собой (что вполне естественно) одну из форм многоликого политического дискурса. Вот лишь один фрагмент передачи, анонсируемой буквально как «новости без политики»: «Белорусские чиновники с большим энтузиазмом взялись решать проблемы детей из неблагополучных семей... Вводится так называемое «внесудебное изъятие детей» [и помещение их в детские дома]...

Не все в Белоруссии считают такой порядок вполне законным. Представители оппозиции...» [Другие новости. 1 канал. 26. 01. 07]. И выбор лексики, обретающей в данном контексте необходимые адресанту коннотации (при внешней видимости объективной подачи информации), и искусно выраженное (и внушаемое аудитории) сомнение в законности описываемых мер, и упоминание о наличии в Белоруссии юридически грамотной и пышущей гуманизмом оппозиции делают цитируемое сообщение полноценным фрагментом вышеупомянутой пропагандистской кампании: «Абсолютно всё плохо в Белоруссии, управляемой Лукашенко!» Ведь далеко не каждый телезритель станет затруднять себя размышлениями: может быть, описываемые меры власти действительно направлены на то, чтобы оградить детей от влияния родителей-алкоголиков и их антисоциального поведения во имя физического и нравственного здоровья этих детей, их будущего – и будущего общества и этноса в целом?

Свой вклад в «иронизацию» (Ю. Поляков) общественного сознания несомненно внесло такое сделанное модным литературное направление, как пропитанный иронией постмодернизм (хотя можно было бы вспомнить и об «исповедальной прозе» 60-х гг. XX в., в большинстве своем – насквозь ироничной тоже).

«Во второй половине XX века мы стали свидетелями бурной агрессии маргинальных форм культуры... Авангард пережил период «бунтующей периферии», стал центральным явлением, диктующим свои законы эпохе и стремящимся окрасить всю семиосферу в свой цвет...» [Лотман 1996: 179].

Расцвет литературы отечественного постмодернизма относят обычно к середине 80-х гг. прошлого столетия: это связывают с тем, что «произведения постмодернизма, являясь следствием иронического мироощущения, наиболее адекватно отражают социально-политические противоречия нашей жизни» [Дашкова 1992: 141]. Казалось бы, претендуя на новизну показа личности и мира (да еще после страшных, просто ужасных «десятилетий идеологического насилия и обезличивания» [там же]),

представители этого направления могли и должны были создать нечто принципиально новое и в области средств выражения, но... к специфическим особенностям языка постмодернистских сочинений относят прежде всего «их вторичность по отношению к предыдущим текстам» [там же]. Иронический язык постмодернизма оперирует штампами общественного сознания (вероятно, пытаясь оперировать и им самим), воспроизводя некую иерархию «заштамповывания сознания: из сферы догматического мышления – в сферу культуры, обедняя и обесценивая ее, а затем – в область языка, сводя его до почти предсказуемости» [Дашкова 1992: 142]. И ту, и другую цели трудно назвать благородными (разве что в постмодернистском духе. Ср. в хронологически близкой публикации подобную оценку эффекта поэзии того же времени: в основе трех направлений развития послесоветской стихотворной культуры лежит «экономическая цепочка: ремесленник – товар – потребитель»... Эти направления суть а) «измы», «работающие» с формой; б) политизированные частушки; в) «стёб»... Речь идет не о самоосознании языка, а о его порабощении и вульгаризации. Эти процессы не могут проходить безболезненно для языка, т. к. он существует во взаимосвязи с сознанием человека» [Бураго 1992: 149], а следовательно – трансформируется и сознание).

Впрочем, выясняется, что, например, в беллетристике запасы иронии оказались вовсе не беспредельными: в постмодерне она исчерпала себя именно тем, что ... победила. Кроме того, как верно замечено, «иронизируют всегда над чем-то, что в принципе противоречит постмодерному положению об отрыве означающего от означаемого» [Руденко 2000: 60].

Филолога, которого «не устраивает бунт против разума, лукавые игры анархического ума, деканонизация традиционной литературы, утверждение иронизма как смыслообразующего принципа... мозаического постмодернистского искусства и т. д.», оправданно настораживает то, что постмодернизм, возникший на основе решительного неприятия любого стандарта, на принципиальном утверждении толерантности, маргинальности,

плюрализма и т. д., всё более зримо проявляет черты агрессивности [Теплинский 2002: 372], то есть пытается играть роль некоего «единственно верного учения» как стандарта.

Интересно при этом, что рудименты культивирования «воспитательного чтения», практиковавшегося в советской школе, вызывают сегодня «сожаление»: увы, «школьная методика оказалась неготовой к восприятию и осмыслению постмодернистской литературы» (т. е. её игровых начал, иронии, пародийности, доходящей до цинизма эпатажности и прочих высоких достоинств постмодернизма – см. там же завлекательную цитату из учебного пособия для старшеклассников: «Стерты границы между высоким и низким..., все табу, в том числе и на ненормативную лексику. Отсутствует почтение к каким бы то ни было авторитетам, святыням. Отсутствует стремление к какому-либо положительному идеалу» и т. д.). [Кузьмина 2006: 173, 174, 180 и др.]. Brave new world! Можно еще, конечно, пообещать школьникам и скорое освобождение от химеры, именуемой совестью...

ИГРЫ В РАСКРЕПОЩЕННОЕ СЛОВО

«Ясно, насколько «раскованным» становится мышление, с которого снята цензура устойчивых этических норм» [Кара-Мурза 2002: 122]. В сфере речевой коммуникации примерно двадцати последних перестроечно-реформаторских лет многократно декларированное освобождение общества от тяжких оков тоталитаризма выразилось и в чрезвычайно широком употреблении субстандартных лексико-фразеологических единиц. Эта игра в «раскрепощенное слово» инициировалась и активно поддерживалась российскими средствами массовой информации (точнее, конечно, – их распорядителями) и очевидно имела в качестве своей цели вовсе не расширение словарного запаса законопослушных граждан.

«Процесс жаргонизации всей страны» [Мокиенко 1994:156] стал не только реакцией на стандартизованность и безликость официально-пропагандистских штампов советского времени. Следует иметь в виду, что,

например, уголовный жаргон, кроме таких функций, как конспиративная, экспрессивно-выразительная, парольная [Бондалетов 1987: 74], выполняет также иные. И. А. Бодуэн де Куртенэ в начале XX в. характеризовал «блатную музыку» как «один из русских «говоров», конечно, не в обыкновенном смысле этого слова»: «ее спаивает в одно целое то обстоятельство, что ее носителями являются люди, составляющие в известном смысле отдельный класс, объединенные как более или менее одинаковым собственным мировоззрением и взглядом на самих себя, так и одинаковым к ним отношением других» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 161]. Современные специалисты также считают основной функцией уголовного арго мировоззренческую, которая в то же время является и объединительной, причем, в отличие от объединительной функции языка, сплачивающего нацию, арго объединяет деклассированные элементы и противопоставляет их основной части общества [Грачев 1995: 41].

Слово расценивается ворами, глубоко верящими в вербальную магию, как дело и является сигналом, с помощью которого возможно воздействие на окружающие реалии и ход событий. Существует взаимозависимость: арготизмы порождаются преступниками – арготизмы же и управляют криминальной средой [Грачев 1997: 109-110]. Поэтому распространение уголовных арготизмов можно рассматривать и как расширение сферы влияния уголовного мира, обеспечивающее внедрение в общественное сознание его философии и моральных установок.

Повторим: ранее считалось, что одним из факторов, объединяющих носителей «блатной музыки» в отдельное сословие, является «одинаковое к ним отношение других сталкивающихся с ними «добропорядочных» и «благонамеренных» людей» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 161] – официально доминировавшая в обществе мораль призвана была играть роль некоего гигиенического кордона. И в советское время проникновению жаргона в тексты СМИ и художественной литературы ставили прочные заслоны не только рудименты хорошего тона и жесткая редакторская цензура [Мокиенко

1994: 156], но и цензура официально-идеологическая – вряд ли их можно разделить: «Специфика советской цензуры состоит... не только в ее гипертрофированности и всеохватности, но и в небывалом прежде сочетании многоуровневой структуры контроля над речью с проникновением в стиль речи» [Романенко 2007: 163]. Уголовный жаргон справедливо рассматривался как выражение системы ценностей, противостоящих коммунистической идеологии.

Но с началом «перестройки», «когда еще обеспеченная государственными гарантиями система СМИ активно включилась в демонтаж главной опорной системы советского государства – коммунистической идеологии» [Музалевский 2007: 290], речевая ситуация в СМИ резко изменилась: нужно было исподволь готовить общественное мнение к следующему этапу реформирования – приватизации, разделу и переделу государственного имущества между немногими – для создания класса собственников-нуворишей. Радикальному пересмотру подверглись аксиологические ориентиры. С активной помощью СМИ в обществе произошла подмена понятий. «Когда мы стали с удовольствием не то чтобы допускать – утверждать, что зло не менее привлекательно, чем добро, появились всякие варианты эгоцентризма: «если ты умный, почему бедный» [Богданов 2007]. То, что С. Говорухин в 1993 г. назвал «великой криминальной революцией», породило своих героев, описываемых, например, так: «Володин ... в целом ... был похож на цивилизованного басмача... Шурик олицетворял элитный тип питерского бандита... Колян... весь как бы состоял из пересечения простых геометрических тел..., его маленькая обтекаемая головка напоминала тот самый камень, который, по выражению евангелиста, выкинули строители, но который тем не менее стал краеугольным в новом здании российской государственности» [Пелевин 2003: 307].

Естественно, что подобным персонажам необходимо было обеспечить свое комфортное существование и в перспективе (например, путем обретения

депутатской и т. п. неприкосновенности). Поскольку информационные войны включают в себя и выборы во власть, «порой подход здесь может быть до предела банален; ... если хочешь погубить богатую и сильную страну, то помощи прийти в ней к власти местному вору... Всё остальное они сделают своими собственными руками. Причем ограбят свою страну и сограждан так, что ущерб превысит потери от самой лютой войны с традиционным огнестрельным и даже ядерным оружием» [Расторгуев 2003: 373-374].

Символичным в свое время (в 1994 г.) стало назначение членом комиссии по правам человека при президенте РФ трижды судимого Владимира Податова (кража, вооруженное ограбление, изнасилование), «вора в законе» по кличке Пудель [Кара-Мурза 2002: 645]; столь же символичным было выступление на одном из предновогодних концертов 2001 г. (и в присутствии высшего руководства) А. Розенбаума с приклатненной песенкой «Гоп-стоп»; его сопровождал ведомственный хор, облаченный в парадную форму; всё это, естественно, транслировалось российским телевидением (РТР).

Можно считать, что к так называемым внеязыковым факторам, обусловившим насыщение публичного дискурса уголовно-арготической лексикой, относятся закономерно взаимосвязанные и взаимодополняющие изменения социально-политических доминант, смена аксиологических ориентиров, ремаркация общественных и индивидуальных ценностей, а в экономике – появление частного предпринимательства в финансово-промышленной сфере, сопровождающееся непрерывной борьбой за передел собственности и влияния, причем на практике становятся допустимыми и почти всегда безнаказанными фактически любые способы личного материального обогащения. В таких обстоятельствах востребованность «блатной музыки» активными участниками, сторонниками и проводниками этих преобразований вполне естественна. Но, кроме того, что не менее важно, тактически было целесообразным – и остается таковым стратегически – привлечение симпатий или хотя бы достижение лояльности остального

населения к решительной ломке социокультурной парадигмы. Теперь налицо не только повышение толерантности к уголовно-арготической лексике и воплощенной в ней системе этических представлений, но также несомненная элитаризация их, что, соответственно, подтверждает и повышает статус представителей криминалитета в глазах сограждан («не будет преувеличением утверждать, что социальные нормы бытового поведения «дна» исподволь влияют на представления о престижном у законопослушных обывателей» [Ставицкая 2000: 179]). Замечено, что дети (формирующиеся языковые личности) усваивают жаргонные слова и обороты как органичные единицы; происходит замещение «нейтральных» элементов на жаргонные, которые справедливо считают патогенными [Семенюк 2001: 124].

Вектор этой разновидности игры в слова очевидно обращен в перспективу: «На долгие годы эталоном для программирования подрастающего поколения в силу существующей инерции и самообучения станет ориентация на уголовные ценности» [Расторгуев 2003: 374].

По мнению А. Лебеда, «если же ребёнок семи лет от роду уже лихо пользуется двумя, хотя и на русском языке, но, по сути, нерусскими глаголами – «мочить» и «трахать», то, когда он вырастет, будьте уверены, будет писать «Родина» с маленькой буквы, а «сало» – с большой» [Самотик 2004: 167].

Впрочем, цитируемый политик собственной публичной речевой практикой убедительно подтвердил сформулированный им тезис: «Мы, русские, матом не ругаемся, мы матом говорим» [Самотик 2004: 171] – «когда в официальной обстановке в присутствии ТВ официальное лицо не только позволяет себе нецензурную брань, но и настаивает на правильности своего поведения: «Это я официально говорю, в четыре камеры, пусть разносят ..., чтоб все знали» [Сперанская 1999: 92 – 93]. Таким образом была наглядно проиллюстрирована еще одна составляющая тенденции вульгаризации словоупотребления.

В перестроечно-реформаторский период активизировалось использование и другой разновидности субстандартной лексики, а именно вульгарно-бранной, в том числе и в дискурсе СМИ. Подобные выражения ранее именовались «неприличными», «непристойными», «непечатными», «нецензурными»; все эти определения сегодня можно считать устаревшими, поскольку они не соответствуют реальным доминантам современной культурно-речевой ситуации. Один из весьма многочисленных примеров: «Люблю, когда женщины матерятся, но не воспитатели детей, а политики... Вот Раиса Васильевна [Кармазина, депутат Законодательного собрания Красноярского края, ныне – депутат Государственной думы РФ] как завернет!» [О. Пащенко, депутат Законодательного собрания Красноярского края. Новости. ТВК. 18. 04. 02].

И эта разновидность игр в слова была актуализирована в российской массовой коммуникативной практике тоже не случайно. Приведем принципиально важное высказывание режиссера, творчество которого всячески популяризировалось: «Сам же [Р. Виктук] объясняет увлечение матом не бытовыми проблемами, а своим духовным ростом. «Для культурного человека мат – это нормально. Мат – это естественная форма речи. Не материться – какая-то советская стыдливость». Кстати, эта цитата в [ТСРРЯ 2001: 736] иллюстрирует одно из значений прилагательного *советский* – 'свойственный чему-л. в СССР или кому-л. живущему в СССР; совковый', поданное с пометой *н е о д о б р*.

В свете вышесказанного обратимся к интересной и содержательной статье В. А. Гречко, специально посвященной природе нецензурной лексики, причинам её сегодняшнего почти повсеместного употребления и интенсивного лексикографирования. В качестве идейного предшественника тех лингвистов, которые считают издание словарей ненормативной лексики научно обоснованным и даже необходимым («раз явление существует, оно должно изучаться»), автор называет польско-русского языковеда И. А. Бодуэна де Куртенэ. «... Будучи редактором 3-го издания (1903-1909 гг.)

Словаря Даля, И. А. Бодуэн де Куртенэ самовольно включил в Словарь большое количество бранных, в том числе и нецензурных, слов, нарушив тем самым культурную традицию русской классической лексикографии. Словарь Даля – это авторский словарь. И, включая в него нелитературные, нецензурные слова, Бодуэн тем самым нарушил авторские права Даля, оскорбил его память... В. И. Чернышев писал по выходе Словаря Даля под редакцией Бодуэна, что включение в Словарь бранной, нецензурной лексики вызвало против Бодуэна «бурю негодования» и что «неприличные слова, которые он внес, нет необходимости удерживать» [Гречко 2009: 10 – 11].

Напомним, что время, сопутствовавшее бодуэновски отредактированному изданию, было предреволюционным; преддверием великих потрясений стало и катастрофическое падение нравственности... Можно полагать, что и упомянутое издание внесло в эти процессы свою достойную лепту.

В наши дни активно пропагандируется то ли неизбежность, то ли необходимость широкого употребления мата – и на той же высоконаучной подкладке. «В передаче «Радио России», именуемой «Воскресная лапша», обсуждался вопрос о русском мате... Были приглашены студенты Университета дружбы народов, а в качестве авторитетного эксперта выступал академик В. Г. Костомаров... Позиция академика ... вызвала у радиослушателей наибольшее удивление. Он сослался на мнение своих аспиранток, которое разделяет. Аспирантка из Германии утверждает, что для России характерна «культура вмешательства». Люди могут сделать замечание другим об их речи, поведении и прочем, что на Западе не принято. Там свобода, демократия: говори что хочешь и делай что хочешь [т. е. чрезвычайно развита т. н. толерантность? – А. В.]... Академик солидарен с мнением своих аспиранток ... Ведущие горячо благодарили академика, оригинальное резюме которого им очень понравилось. А ведь было время, когда В. Г. Костомаров выступал активным борцом за сохранение чистоты, богатства, культуры русского языка ... Вся его книга «Программа КПСС о

русском языке» (М., 1963 г.) проникнута мыслями о величии русского языка, заботой о нем» [Гречко 2009: 12-13]. Воистину, упомянутый языковед неуклонно следует словам любимого им исполнителя: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» [Костомаров 2005: 265].

Известно, что борьба с матерной бранью велась на Руси еще в далекие от нас эпохи, прежде всего под знаком борьбы с язычеством, когда мат воспринимался как черта бесовского поведения, языческих игр (ср. определение матерной брани как «жидовского слова» в [Смирнов 1913: 156], то есть, по мнению Б. А. Успенского, как языческого [Успенский 1996: 69-79], – иначе говоря, как вербально воплощенного противопоставления православия. Таким образом, как ни парадоксально, некоторые еще относительно недавние официальные критерии русской речевой коммуникации, действовавшие в социалистическом («тоталитарном») атеистическом государстве, оказываются гораздо более соответствовавшими отечественным христианским традициям, чем иллюзорная свобода публичного дискурса периода реформ, когда СМИ кстати и некстати вспоминают о благотворной роли церкви, религиозной морали и т. п.

Считавшаяся ранее запретной брань утверждается как знамение абсолютной раскрепощенности, отрешения от прежних идеологических догм, а заодно и норм общественного поведения. Любопытно, что и здесь можно усмотреть историческую параллель («обценная лексика... смыкается с лексикой сакральной» [Успенский 1996: 72]): происходит некое подобие сакрализации матерной лексики.

Распространение указанных разновидностей субстандартной лексики через каналы СМИ вполне закономерно и не является лишь изменением в области культуры речи социума (понимаемой иногда неоправданно узко). Этот лингвокультурный феномен отражает многообразные процессы реформирования общества – и одновременно стимулирует их, способствуя перепрограммированию сознания носителей языка согласно пропагандируемым постулатам, внедряя новые модели межкультурных и

межличностных отношений, конструируя иные, чем прежде, стереотипы поведения. Такие игры в слова – это еще и имитация свободы слова.

Многие специалисты обоснованно утверждают, что современная российская социокультурная ситуация всё более уверенно обретает черты некоей всеобщей игры, спектакля, шоу – в общем, чего-то ненастоящего, искусственного. Это можно наблюдать на разных примерах.

Одним из симптомов изменений общественного сознания в годы радикальных реформ стала сверхчастотность употребления в речи сочетания (по мнению Н. М. Шанского – сейчас уже не сочетания, а отдельно пишущегося слова [Шанский 2003: 102]) *как бы*. Размывая и выхолащивая семантику высказываний, оно при этом сигнализирует об отношении речедееателей к окружающей действительности – и к самим себе. Таким образом выражаются представления о непрочности бытия, псевдореальности жизни, зыбкости этических основ, размытости шкалы духовных ценностей, отсутствии оптимистических перспектив (подробнее см. [Васильев 2003: 91-103]). Это довольно отчетливо напоминает оценку В. О. Ключевским внутрироссийской ситуации начала XX века в преддверии бурных катаклизмов: «У нас нет ничего настоящего, а всё суррогаты, подобию, пародии: quasi-министры, quasi-просвещение, quasi-общество, quasi-конституция, и вся наша жизнь есть только quasi una fantasia» [Ключевский 1990, IX: 361]. С точки зрения социальной экологии, деградация жизненной среды человека – существа морального – порождает у него неуверенность в себе и обществе, в котором он живет; это способствует и деградации самой личности, и возникновению многих нежелательных явлений [Маркович 1991: 91-92, 125, 128].

По мнению ряда философов и политологов, сложилась исторически новая формация – «общество спектакля»: «Мы, простые люди, стали как бы зрителями, затаив дыхание наблюдающими за сложными поворотами захватывающего спектакля. А сцена – весь мир, и невидимый режиссер и нас вытягивает в массовки, а артисты спускаются со сцены в зал... Речь идет о

важном сдвиге в культуре, о сознательном стирании грани между жизнью и спектаклем, о придании самой жизни черт карнавала, условности и зыбкости... Историческое время превращается в совершенно новый тип времени – время спектакля, пассивного созерцания... Ценность этой технологии для власти в том, что человек, погруженный в спектакль, утрачивает способность к критическому анализу и выходит из режима диалога, он оказывается в социальной изоляции... Общество спектакля – это «вечное ненастоящее» [Кара-Мурза 2002: 192-194]. А если так, то стоит ли возмущаться настоящим-ненастоящим, тем более – протестовать и выступать против «как бы» существующего призрачного порядка ненастоящих вещей?

Полагают, что и Россия в последние годы была включена во всемирную неокочевую «цивилизацию игры»; при этом резонно предупреждают, что «игра не может продолжаться вечно. Всякой игре надобно свое игровое поле, и если оно исчезнет – наступит весьма печальный финал. Причем печальный не только для нашего народа, превращенного в игровые юниты, но и для самих играющих» [Калашников 2003: 105]. В несколько ином терминологическом оформлении о совокупности тех же феноменов, порожденных и порождаемых в том числе средствами и методами информационной войны, говорится как о «цивилизации Зрелищ»: «Научно и промышленно отсталые страны должны будут платить за Зрелища ту цену, которую им установит производитель. А собирать эту плату они будут за счет безжалостной эксплуатации собственных недр и собственных народов» [Расторгуев 2003:422]. Небезынтересно, между прочим, что почти немедленно после выборов президента РФ в 2008 г. СМИ как будто совсем забыли о рекламе якобы многообещавших «национальных проектов» и загадочных нанотехнологий, о которых твердили доверчивой аудитории на протяжении нескольких месяцев. При этом пресса и телевидение, например, вроде бы случайно и пока еще не очень интенсивно, стали напоминать зрителям о том, что «во всем мире» испытывается острый дефицит пресной

воды, а Россия обладает чуть ли не самыми большими её запасами (озеро Байкал и проч.), ср.: «По данным ООН, к 2050 году от нехватки воды будут страдать три миллиарда человек в 50 странах. И России ... рано или поздно придется от нефти и газа переключиться на экспорт воды, которая к тому же [!] является восполняемым природным ресурсом» [Овчинников 2009: 17]. Невольно напрашивается аналогия насчет судеб российской нефти и роста цен на бензин на внутреннем рынке страны, приведенных якобы в соответствие с «мировыми» (в отличие от зарплат большинства граждан)...

Вполне закономерными в условиях внутривнутриполитических процессов в реформируемой России явились активизация некоторых метафорических моделей и упрочение их, особенно в дискурсе СМИ; в частности, это театральная и игровая метафоры. Совершенно верно, что в последнее десятилетие XX века «на политической сцене по заранее разработанным сценариям и под руководством опытных режиссеров разыгрывались комедии, трагедии и фарсы, в которых играли свои роли актеры (иногда по подсказке суфлеров)... Всё это вызывало интерес у зарубежных театралов, хотя они не в полной мере могли понять российское искусство. Во многих случаях театральная метафора сменялась метафорой циркового представления... Артисты были достаточно смешными, но настроение публики оставалось достаточно тревожным» [Чудинов 2003: 113-114]. Точно оценивается и прагматический потенциал описываемой метафорической модели, который определяется «ярким концептуальным вектором неискренности, искусственности, ненатуральности, имитации реальности: субъекты политической деятельности не живут подлинной жизнью, а вопреки своей воле исполняют чьи-то предначертания» [Чудинов 2003: 114]. Столь же востребованными стали спортивная и игровая метафоры: среди доминантных моделей российского политического дискурса выделяется представление политической жизни как своего рода игры или спортивного состязания: «политическая деятельность рассматривается как своего рода спорт, где необходимы строгие правила честного соперничества, где успех в

значительной степени предсказуем..., хотя и бывают разного рода неожиданности...» [Чудинов 2003: 114]. В свете этого весьма примечательно сомнительное достижение, которым публично (через каналы СМИ) гордились российские высокие руководители, политологи и аналитики: в результате выборов в Госдуму там стало много депутатов – деятелей искусств (шоу-бизнеса) и профессиональных спортсменов (в основном – отставных), т. е. людей, которые всю свою жизнь посвятили именно игре в различных ее воплощениях: участвуя в певческих и танцевальных представлениях либо в спортивных состязаниях. Видимо, сегодня этого вполне достаточно для успешной законотворческой деятельности...

ИМПОРТ ЛЕКСИКИ – ИМПОРТ МИРОВИДЕНИЯ

Как разновидность игры в слова можно рассматривать употребление заимствований прежде всего в тех случаях, когда они используются вместо имеющихся синонимичных им слов автохтонного языка. И эта игра имеет отчетливо выраженный манипулятивный характер: заимствованные слова не обладают для носителей языка-реципиента внятной внутренней формой (ср., например, исконные *подросток*, *юноша*, *молодой человек* – и американо-английское *teenager*; *возлюбленный*, *любимый*, *любовник* – и *boyfriend*; и т. п.). Поэтому, в частности, момент заимствования считают и моментом утраты национального концепта, следовательно – и обеднения русской ментальности [Колесов 2004в: 122]. «Когда русский человек слышит слова «биржевой делец» или «наемный убийца», они поднимают в его сознании целые пласты смыслов, он опирается на эти слова в своем отношении к обозначаемым ими

явлениям. Но если ему сказать «брокер» или «киллер», он воспримет лишь очень скудный, лишенный чувства и не пробуждающий ассоциаций смысл... Методичная и тщательная замена слов русского языка такими чуждыми нам словами-амебами – никакое не «засорение» или признак бескультурья. Это – необходимая часть манипуляции сознанием» [Кара-Мурза 2002: 92] (см. также [Васильев 2003: 103-135], [Васильев, Веренич 2005]).

Говоря о заимствованиях, надо вспомнить, что «научная терминология как продолжение народной тоже поневоле наделена метафоричностью» [Трубачёв 1992:43]. И процессы, и результаты освоения иноязычных слов значимы с культурологической и социально-психологической точек зрения как иллюстрации постоянной актуальности фундаментальной оппозиции ‘свой’/‘чужой’ (в иных формулировках также: ‘сакральный’/‘профанный’, ‘священный’/‘мирской’, ‘внутренний’/‘внешний’, ‘хороший’/‘плохой’ и др.). Что представляют собой лексическое «заимствование» и лексическое «освоение» в таком аспекте?

С одной стороны, это переход иноязычного слова и культурной информации, заключенной в нем, через некий сакральный рубеж (от ‘чужого’ – к ‘своему’), что детерминирует, как правило, некоторую трансформацию языковой картины мира путем введения новых элементов, изменения ее фрагментов через иное их расцветивание посредством коннотации, а потому во многих случаях способно изменять представления носителей языка об окружающей действительности (ср. также: «Глубочайшей сущностью этнических (будь то этнопсихических, этнокультурных или этнолингвистических) противопоставлений является сама граница... Пересечение всякой грани, разделяющей людей, ... сознаётся как акт сакральный» [Поршнева 1973:12]). Небезынтересно также, что складывающаяся (а возможно, уже сложившаяся) ситуация позволяет говорить о некотором нарушении извечного соотношения компонентов универсальной оппозиции в разных ее модификациях: за счет интенсивной пропаганды якобы бесспорных достоинств и высочайших

культурообразующих потенциалов чужого языка (в данном случае – английского в его американском варианте) – и равнодушного, если не сказать – пренебрежительного отношения к состоянию и возможностям родного (русского) языка. Иначе говоря, колеблется баланс пропорции ‘свой’/‘чужой’ – ‘внутренний’/‘внешний’ – ‘сакральный’/‘профанный’ – ‘хороший’/‘плохой’.

С другой стороны, объем знаний, удерживаемых памятью индивидуума, не беспределен, а следовательно, в мировосприятии и самосознании носителей принимающего языка почти неминуемы замещения компонентов, в том числе – концептуально важных.

Оказывается, что освоение чужого (заимствования) одновременно может стать отчуждением своего (исконного). Если вновь обратиться к собственно лингвистическому аспекту проблемы, то целесообразно упомянуть о еще одной лакуне в терминологии: «Можно представить себе языковую экспансию, языковое миссионерство, но как обозначить то, что получается с другими (т.е. принимающими, реципиентами – А.В.) языками в результате этого?» [Панькин, Филиппов 1992:31]. По-видимому, с учетом уже имеющихся и еще продолжающихся складываться российских реалий вероятно было бы использовать варианты дефиниций вроде *лингвистическая мутация, *языковая трансформация, *лингвистическая (лингвокультурная) колонизация (интервенция), соответственно – *язык-мутант, *язык-гибрид, *язык-сателлит и т.п. Некоторую парадоксальность существующей ситуации можно усмотреть в том, что усиление влияния и всяческое возвышение значимости английского (или, точнее, наверное, американско-английского) языка, макаронизацию русской речи было бы не вполне точно называть внешним воздействием: оно ведется формально изнутри, то есть российскими (и не в последнюю очередь – государственными) средствами массовой информации. Именно их усилия способствуют и созданию ореола привлекательности феноменов иной культуры, не традиционной и вряд ли полностью приемлемой для коренных носителей русского языка, и их

быстрому внедрению в общественное сознание. «А по какому, собственно, слову, по какой логике сотворен мир? По слову греков? Англичан? Хопи? Единственно последовательно христианским ответом на этот вопрос будет ответ в духе лингвистической относительности: миров столько, сколько языков, и раз уж данная языковая общность существует, не входя в конфликты с закономерностями окружения и воспроизводя свои социальные институты в смене поколений, ей нет ни малейшего резона считать свой мир и логику этого мира в чем-то ущербными, уступающими мирам и логикам других языковых общностей в совершенстве» [Петров 1991: 93].

При рассмотрении явлений массивованного заимствования в социально-психологическом плане уместно использовать понятие «социализация», обобщенное, синтетическое определение которого формулируют как «процесс превращения индивида в члена данной культурно-исторической общности путем присвоения им культуры общества» [Тарасов 1977:39]. Пока остаются дискуссионными вопросы о том, что представляет собой культурно-историческая общность, населяющая сегодня Россию, каковы ее основные ментальные черты и насколько можно считать завершенным ее формирование; может быть, следует также предположить вероятность социализации массы индивидов в совершенно иную общность, не обязательно ориентированную на ценности какой-то одной, конкретной национальной культуры, и ее сравнительно скорую космополитизацию и включение в глобалистскую гиперкультуру.

Тем не менее, допустимо говорить о том, что под влиянием иноязычных и чужекультурных новаций происходит аксиологическая реполяризация менталитета, уже миновавшая стадию демонстративной и декларативной деполяризации. Речь идет о синхронной языковой и социокультурной экспансии. С помощью заимствований последнего времени, как и других слов-мифогенов, осуществляются манипуляции индивидуальным и общественным сознанием.

ИГРИЩА ЖУРНАЛИСТОВ

В российском публицистическом дискурсе своего наивысшего расцвета достигла «прелестная вербальная вольница, позволяющая пишущему в с ё : мешать залогом, играть с инверсиями, «лепить» подлежащие и сказуемые куда захочется, играть на интонациях вплоть до полного перевертывания смысла, менять ролями одушевленное и неодушевленное, трансформировать графический облик слова и т. д.» [Соболева 2003: 238].

Наиболее ярко это проявилось, конечно, в СМИ, тексты которых (особенно конца советского и затем послесоветского – или антисоветского? – периода) характеризуются эфемерностью, недолговечностью – в зависимости от «политических загогулин» и «рокировочек» (раньше это называли «колебаниями генеральной линии партии», а затем *оптимизацией* и *модернизацией*); кроме того, им присуще далеко не только сильно развитое игровое начало, но и многочисленные ошибки как результат низкого профессионального уровня журналистов, их постоянной спешки из-за

жесткой конкуренции между изданиями, борьбы за милость рекламодателя и т. п.

Иногда такие тенденции оценивают весьма положительно. Например: «журналисты играют со словами и в слова..., ломая традиционные модели словообразования, грамматики, снимая табу на сочетаемость слов... Языковая игра помогает творчески осваивать чуждые для публицистического стиля лексические единицы, вторгшиеся [точнее, внедряемые. – А. В.] в тексты СМИ и существенно расширившие традиционный для прессы инвентарь слов... Построенный с помощью языковых игр журналистский текст дарит читателю альтернативную картину мира... Обращение СМИ к кодам игры отражает общую для нашего времени ситуацию, связанную с активизацией внимания к символическим формам жизни (искусство, игра, сновидения, фантазии, предсказания экстрасенсов, гороскопы и т. п.). В самой природе игры содержатся важные для человека, освобождающегося от идеологического диктата, компоненты. Они связаны прежде всего с культивированием ценностей свободы в самых разных ее значениях... Игровое (альтернативное, виртуальное) в документальном в своей основе тексте СМИ тех или иных ситуаций может быть рассмотрено и как знак демократического общества, и как средство снятия общественной напряженности, примирения различных позиций, приглашение к диалогу, дружеский жест. ...Игра всегда предполагает сотрудничество...» [Сметанина 2002]. Все вышеприведенные положения могут быть интерпретированы несколько иначе. Например: малограмотные журналисты нарушают нормы русского литературного языка, в том числе и элементарной семантической валентности; использование жаргонизмов и отражает высокий уровень криминализации российского общества, и стимулирует её; далеко не каждый читатель нуждается в том, чтобы ему «дали» альтернативную подлинной картину мира; распространение эзотерических учений, популяризация экстрасенсов, шаманов и проч. свидетельствует и об интеллектуальных потенциях тружеников СМИ, и – еще раз – о том, что «сон разума рождает

чудовищ»; один идеологический диктат сменяется другим, замаскированным под деидеологизацию; непонятно, что такое «культивирование ценностей свободы» (скорее всего, лишь пропагандистский штамп); «знак демократического общества» и прочее в комментариях не нуждаются. Впрочем, встречаем здесь и гораздо более продуманные суждения: «Игровая подмена реального, как бы искусно она ни была произведена в медиа-тексте..., остается подменой... Конечно, в результате документальный дискурс медиа-текста размывается. Это приводит к субъективации информации, но качественно иной, чем это было в советской прессе [более качественной? - А. В.]... Переход журналистов к тексту-игре – результат естественных в условиях рынка поисков оптимальных способов создания интересного для разного читателя материала» [Сметанина 2002: 93] (в общем, «от империи лжи – к республике вранья»).

Можно согласиться и с тем, что «манипуляция с языком часто обнаруживает связь с манипуляцией фактами, поэтому функционирование текстов с игровым дискурсом нормально лишь в ситуации, когда коммуникативное пространство насыщено полной и достоверной информацией» [Сметанина 2002: 93]; правда, адрес этого пространства не указан – не виртуальное ли оно?

«Игровая стихия медиа-текста» реализуется в конкретных текстах поразному. Кажется, наибольшее внимание исследователи обычно уделяют игровым заголовкам в печатных изданиях (хотя можно было бы начинать непосредственно с названий некоторых из них; ср., например, «Независимую газету», традиционно являющуюся собственностью одного владельца, или «Московский комсомолец» и «Комсомольскую правду», вовсе не связанных сегодня с комсомолом как массовой политической молодежной организацией; здесь уже трудно отличить иронию от стёба⁸). «Игровые заголовки часть базируются на прецедентных текстах – определенных крылатых выражениях («чужих словах», которые могут именовать также

8 Ср.: «Управление делами президента хочет отобрать *бренд* «Известия», аргументируя это тем, что название учреждено 85 лет назад, а сегодня газета – в частной собственности» [24. RenTV. 07.03.02].

цитатами, крылатыми словами, аллюзиями, реминисценциями – см. [Наумова 2004: 406]), известных в равной степени как автору, так и читателю»... [Атаева 2001: 123]; здесь же справедливо отмечена всеобщая тенденция к снижению стиля, проявляющаяся в непомерном употреблении стилистически сниженной лексики даже в серьезных публикациях, что, с одной стороны, создает малоуместный комизм [там же], но, с другой, вполне согласуется с упомянутым духом иронизации. Степень реминисцентности подобных заголовков варьируется: от одной лексемы до фразы. Однако, поскольку при этом создается «аллюзивный потенциал: от каждого такого маркированного текста расходятся волнами ассоциативные тяготения и резонансы, далекие и близкие» [Матвеевко, Цветкова 1998: 110], то возникают некоторые сомнения насчет серьезности намерений автора именно и н ф о р м и р о в а т ь читателя о чем-то: во-первых, возможно стремление лишь поиграть «красным словцом» и т. д.; во-вторых, автору приходится довольно четко прогнозировать уровень культуры и образования читателя: в противном случае остроумие журналиста не будет оценено (аудиторией) так высоко, как ему хотелось бы. Интересно, между прочим, что языковая игра в газетном заголовке может либо затухать (в относительно спокойный, стабильный период), либо активизироваться – в период обострения [Боброва 2000: 167] – то есть, по существу, участвует в регулировании общественных настроений, дополнительно манипулируя ими. Иногда отмечают, что благодаря словообразовательной игре окказиональность в языке газеты стала нормой [Ильясова 2004: 277] – то есть фактически перестала быть окказиональностью? Здесь же упоминается о широком распространении в языке СМИ и рекламы «игры с латиницей».

Следует сказать о том, что последняя игра тоже вовсе не безобидна и, по крайней мере, не столь уж привлекательна, как это может кому-то показаться. Здесь можно увидеть и обеднение национальной ментальности – как и при других заимствованиях (лексических) [Колесов 2004в: 122], и «обезьянье пристрастие самозванных «элит» к самолюбованию» [Колесов

2004в: 206], пренебрежение возможностями кириллицы как якобы недостаточными, и – шире – отказ от возможностей русского языка. Напомним также, что в ч. 6 ст. 3 гл. 1 Федерального закона о языках народов Российской Федерации говорится: «В Российской Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. Иные графические основы алфавитов государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик могут устанавливаться федеральными законами» – то есть действующее законодательство **уже** предусматривает возможность отказа от кириллицы как графической основы русского – государственного – языка (подробнее см. [Васильев 2007: 64-65], [Васильев 2008: 67-68]).

Может быть, берется в расчет необходимость подготовить к этому сознание социума, что, собственно говоря, и делается весьма активно на протяжении двух последних российских десятилетий (через пропаганду английского языка, американской культуры, широчайшее распространение текстов, оформленных с помощью латинской графики, и т. д.).

Отметим в связи с этим исторический прецедент, упомянутый великим русским писателем: современные ему столичные «новые люди» (между которыми были «литераторы... – критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители» – и «много мошенников»), наряду с рассуждениями «о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр» и прочем [Достоевский, 7, 1957: 25] (немало этих замечательных замыслов воплотилось в перестроечно-реформаторский период!), говорили также «о заменении русских букв латинскими» [там же]. Следует сказать, что автор «Бесов» и в этом случае опирался на реальные факты: в 1862 г. в Петербурге состоялся ряд совещаний по вопросам орфографии, на одном из которых «некто Кадинский ... предложил воспроизводить звуки русского языка при помощи не русских, а латинских букв» [Евнин 1957: 739].

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Агрессия одного государства против другого, противоборство систем (в том числе – и общественно-политических, и национально-ментальных) может принимать разные формы. Так, один из основных сценариев конфликта, перенесенного с поля «горячей» или «холодной» войны за стол переговоров, гипотетически сводится к тому, что «одна из сторон, навязав оппоненту военное перемирие, продолжает добиваться своей победы иными, «ненасильственными» действиями... Экономическая экспансия или блокада, массированное насаждение своего образа жизни на территории вчерашнего врага – это всего лишь иные, невоенные способы добиться от противника капитуляции», что позволяет без использования насильственных (в прямом понимании этого слова) методов подойти к победе, «достигаемой не мытьем, так катаньем, не мощью оружия, так мощью экономической или мощью интеллектуальной. Победа здесь равнозначна утрате противником его идентичности, отказу от собственной системы основополагающих жизненных ценностей» [Перцев 2003: 31] – скажем, ее замене на «общечеловеческие». Пропагандистские операции («промывка мозгов»)

играют здесь весьма значимую, если не ключевую роль, причем «метод убеждения применяют не для того, чтобы сделать жертве приятное. Его применяют только потому, что он дешевле. Просто так уж получилось, что субъективная приятность в данном случае совместилась с объективной эффективностью и дешевизной» [Расторгуев 2003: 423].

Именно целенаправленное использование языковых средств является одним из наиболее эффективных орудий, входящих в арсенал информационно-психологической войны. Заметим, что последний термин не является единственно возможным: он вариативен. Иногда специалисты говорят только о войне информационной, иногда – о психологической. По-видимому, терминологические предпочтения довольно субъективны, поскольку из содержания разных трудов следует, что имеются в виду по существу одни и те же совокупности операций по манипулированию общественным сознанием и его трансформации в пользу одной из противоборствующих сторон.

Так, термином «психологическая война» обозначали после первой мировой войны «пропаганду, ведущуюся именно во время войны, так что начало психологической войны даже рассматривалось как один из важных признаков перехода от состояния мира к войне. Американский военный словарь 1948 г. дает психологической войне такое определение: «Это планомерные пропагандистские мероприятия, оказывающие влияние на взгляды, эмоции, позиции и поведение вражеских, нейтральных или дружественных иностранных групп с целью поддержки национальной политики». Г. Ласуэлл в «Энциклопедии социальных наук» (1934) отметил важную черту психологической войны – она «действует в направлении разрыва уз традиционного социального порядка». То есть как вид воздействия на сознание психологическая война направлена прежде всего на разрушение тех связей, которые соединяют людей в данное общество как сложную иерархически построенную систему.

Атомизация людей – вот предельная цель психологической войны» [Карамурза 2002: 280-281].

Однако любопытно, что полное осознание значимости и сугубой выгоды (по ряду параметров) психологической войны было достигнуто Соединенными Штатами Америки, как полагают, только на рубеже 1948-1950 гг.; известная и широко цитируемая (даже и в годы горбачевской перестройки) директива № 68 Совета национальной безопасности США от 1950 г. устанавливает и предписывает: «Психологическая война – чрезвычайно важное оружие для содействия диссидентству и предательству среди советского народа; подрвет его мораль, будет сеять смятение и создавать дезорганизацию в стране...» [Расторгуев 2003: 347]. Именно начиная с плана «Дропшот» (1948 г.), термин «диссидент» стал широко использоваться в военных стратегических разработках США.

И, по-видимому, небезрезультатно. Вот журналист российской правительственной газеты, повествуя о своем геройском подвиге (участии в передаче в СССР рукописи статьи Солженицына «Как нам обустроить Россию»), вспоминает, как некоторые зарубежные издательства присылали книги на русском (вроде солженицынских шедевров) собкорам советских газет за границей, которые они должны были сдавать в посольство, «однако уже [в 1990 г.] не сдавали. А потому у цитируемого автора «они, спасибо тогдашним вымысленным идеологическим противникам, до сих пор на полках. Правда, распался Союз, ушел Горби, и тут же деньги на нас тратить перестали, книжный поток иссяк» [Долгополов 2010: 26]. Перед нами – очевидный пример то ли некогерентности мышления: автор говорит о «вымысленных идеологических противниках» – и сразу после этого признаёт, что после распада СССР «деньги на нас тратить перестали» (то есть цель якобы вымысленных противников была достигнута); то ли автор не воспринимал и не воспринимает их как противников, то ли вообще не понимает, что такое информационная война...

Любопытно, между прочим, что, по признанию потомственного литератора Я. Гордина (сегодняшний соредaktor журнала «Звезда» в советские времена был в «черном списке», т. е. его произведения в СССР не издавались, хотя Гордин, по его словам, «не был диссидентом, то есть не был активным противником советского режима»), «была парадоксальная и довольно занятная ситуация. С одной стороны, мы не чувствовали себя частью этой культурной и политической системы. А с другой – все [в т. ч. диссиденты] хотели печататься... И многие прекрасно печатались [вероятно, не отказываясь от гонораров. – А. В.]. Не было человека, который бы сказал: «Не желаю печататься на вашей советской бумаге, в ваших советских типографиях!» Ничего подобного» [Выжutowич 2008: 21].

Ср. также: «... Компании, изображавшие из себя борцов с коммунистическим режимом, а на самом деле желающие лишь одной свободы – свободы повсеместного необузданного разврата... Я напоказ жаждал, чтобы нас всех арестовали и упекли куда-нибудь, а глубоко в душе трусовато надеялся, что – ничего, даст Бог, всё обойдется... На наших «героических» сходках я с пеной у рта доказывал, что пока мы не добьемся от властей разрешения на публикацию книг Солженицына, ничего путного в России не будет. Нет, не в России – мы всегда выражались полупрезрительно: «в этой стране» [Сегень 1994: 180]. Кстати, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, сокращенный в объеме до одного тома и адаптированный для детского восприятия, вводится теперь для обязательного изучения в курс литературы для средних школ... Вероятно, та же завидная судьба предназначена творениям В. Аксенова, самого себя именовавшего «российским антисоветским писателем», как об этом сказано в материале правительственной газеты, озаглавленном «Герой на все времена» (очевидная реминисценция: «Человек на все времена» – название пьесы и фильма о Томасе Море, английском гуманисте, государственном деятеле и писателе, одном из основоположников утопического социализма – собственно, фантастическая Утопия изобретена Мором, которого

«человеком на все времена» назвал в своем труде 1521 г. Р. Уиттингтон [Душенко 2006: 60]). Судя по воспоминаниям друзей и очевидцев, приведенным в документальном фильме «Крутой маршрут Василия Аксенова» [1 к. 23.08.08] (здесь еще одна реминисценция: «Крутой маршрут» – заглавие книги воспоминаний Е. С. Гинзбург, матери писателя), существование «актуальной фигуры нашей литературной жизни» (А. Кабаков) [Альперина 2009: 25] было безбедным: «Всегда модно одет, даже если этих вещей еще не было в магазинах; завтрак в кафе, обед – на ипподроме, ужин – в ресторане... Всегда всех угощал: у него книжки издавали. «Я – Чарли-миллионщик», – говорил он о себе» [1 к. 23.08.08]. – Ср. впоследствии: «Ко времени его отъезда он уже был состоявшимся, знаменитым литератором – как ни пыталась советская пропаганда сделать его мелкой сошкой... Он был под запретом» [В. Войнович]. Однако: «Я помню, с каким пафосом В. П. Аксенов уезжал, как давал по западным радиостанциям интервью, что его не печатают, а в это время «Новый мир» спокойно выходит с его последней прекрасной повестью «В поисках жанра». Какое там не печатали, просто в Америке произрастал другой сорт колбасы» [Есин 2002: 512].

Акцентируемая в директиве СНБ США № 68 роль предательства и предателей в свержении советской власти провозглашалась кардинальной не только американскими, но и другими западными специалистами. Например, рассуждая о возможных путях и способах победы Запада над «социальными диктатурами» («абсолютистскими государствами»), К. Г. Юнг, в частности, писал: «Пока реальная опасность может грозить ей [«диктатуре»] только извне в виде военного нападения. Но этот риск снижается год от года, потому что, во-первых, военный потенциал диктатур неудержимо растет. А во-вторых, Запад не может себе позволить с помощью нападения разбудить латентный русский или китайский национализм и шовинизм [в иных идеологических координатах, по-видимому, – патриотизм. – А. В.] и тем самым пустить по тупиковой колее свою благонамеренную

операцию. Остается, насколько мы можем судить, лишь одна возможность – свержение государственной власти [в СССР. – А. В.] изнутри» [Юнг 1997: 196].

Стоит в связи с этим вспомнить, что «в системе управления СССР на ключевые руководящие посты удалось внедрить многих из тех, кто ранее обучался в зарубежных учебных заведениях и, в частности, в «Русском институте» при Колумбийском университете» [Расторгуев 2003: 354].

Приведем фрагмент интервью Ю. И. Дроздова, с 1979 г. по август 1991 года руководившего управлением нелегальной разведки КГБ СССР: «Несколько лет назад бывший американский разведчик, которого я хорошо знал, приехав в Москву, за ужином в ресторане на Остоженке бросил такую фразу: «Вы хорошие парни. Мы знаем, что у вас были успехи, которыми вы можете гордиться. Но пройдет время, и вы ахнете, если это будет рассекречено, какую агентуру имели ЦРУ и Госдепартамент у вас наверху». До сих пор я слышу этот голос, помню эти слова. И они наводят меня на мысль, что, может, именно в этой фразе американца кроется разгадка, почему руководители СССР, обладая максимумом достоверной информации об истинных намерениях Вашингтона, не смогли противостоять разрушению страны» [Российская газета. 31. 08. 07. С. 8-9 (9)].

Насколько мощное воздействие на общественное сознание может оказать факт предательства своего государства и народа правящими кругами, приблизительно можно судить по следующему комментарию: «По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то же самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы СС просто и доходчиво

говорят о либеральных ценностях. А возглавляет всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии» [Пелевин 1999: 17-18].

Конечно же, популяризация вражеских ценностных установок теми, кто еще накануне заверял подвластный им народ в своей приверженности диаметрально противоположным идеалам, закономерно усиливает деструктивный эффект вербальных манипуляций.

Некоторые авторы более склонны описывать эти же манипулятивные операции с помощью термина «информационная война» (ср.: *информационная война* – 'использование средств массовой информации в идеологической борьбе за общественное мнение между политическими противниками; медиа-война' [ТСРЯ 2007: 220]). Наиболее развернутую ее характеристику как в общефилософских аспектах, так и применительно к советско-российской ситуации, находим в известной монографии С. П. Расторгуева, по образному выражению которого, «в информационной войне жертва сама должна себя похоронить и еще поблагодарить за это» [Расторгуев 2003: 360]. Согласно этой концепции, главная цель агрессора – перепрограммировать атакуемую самоорганизующуюся информационную систему (человека, общество, государство) так, чтобы заставить ее смотреть на мир «чужими глазами», глазами той информационной системы, на которую жертва должна стать похожей, то есть глазами эталона [Расторгуев 2003: 136-137].

В связи с этим стоит обратиться к произведениям Ф. М. Достоевского: «они, будучи переведенными на другие языки, стали тем знанием о системе «Русский народ», которое и явилось основой для современных разработчиков стратегий и тактик информационной войны. Не случайно романы Достоевского являлись обязательными для советологов и кремлеологов» [Расторгуев 2003: 192].

Действительно, глубоко символичен тот факт, что роман, содержащий прообраз классической стратегии информационной войны, называется «Бесы». Многие речи и поступки его персонажей (либералов,

революционеров и т. п.) удивительно созвучны актам сегодняшних российских деятелей, таких же Лямшиных. Например: члены «кружка» Верховенского-старшего «впадали в общечеловеческое»; «наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить»; «они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива», а сам Верховенский-отец решает, что «русские должны быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты». Когда «в моде был некоторый беспорядок умов», членов другого кружка (супруги губернатора), мастеров устраивать публичные скандалы, «звали насмешниками или надсмешниками, потому что они мало чем брезгали». В свою очередь, подпольная организация Верховенского-младшего ставила своей целью «систематическое потрясение основ, ... разложение общества и всех начал»; «систематическою обличительною пропагандою... зародить цинизм..., полное безверие во что бы то ни было... наконец, свергнуть страну..., если надо, даже в отчаяние» [Достоевский 1957, 7: 36, 146, 147, 229, 336, 570, 696] – иными словами, создать и поддерживать ситуацию управляемой катастрофы.

Принципиально важно то, что, кроме применяемого оружия, информационная война от т. н. обычной почти ничем не отличается. По крайней мере, это касается результатов: «для потерпевшей поражение страны в той или иной степени характерны ...: гибель и эмиграция части населения; разрушение промышленности и выплата контрибуции; потеря части территории; политическая зависимость от победителя; уничтожение (резкое сокращение) или запрет на собственную армию; вывоз из страны наиболее перспективных и наукоемких технологий. Обобщение сказанного в контексте информационных самообучающихся систем может означать: стабильное сокращение информационной емкости системы, гибель элементов и подструктур. Подобное упрощение системы делает ее безопасной для агрессора; решение ранее несвойственных задач, т. е. задач в

интересах победителя. Потенции [побежденной] информационной системы направлены на отработку тех входных данных, которые поставляет на вход победитель; побежденная система как бы встраивается в общий алгоритм функционирования победителя, т. е. поглощается структурой победителя. Таким образом, особой разницы для потерпевшей поражение системы от того, в какой войне – ядерной или информационной – она проиграла, нет. Разница может быть только в том, что информационная война не имеет финала, так как проблема окончания информационной войны, как и проблема ее начала, относится к алгоритмически неразрешаемым проблемам. Более того, нет причин, по которым агрессор прекратил бы свое воздействие на жертву» [Расторгуев 2003: 155-156].

Одна из художественно осмысленных моделей информационно-психологической войны представлена в «сказке» В. Шукшина «До третьих петухов...». Черти, не возжелавшие более жить на болоте, облюбовали некий монастырь, но – вокруг него высокий забор, а в воротах, на которых написано: «Чертям вход воспрещен», стоит большой и зоркий стражник с пикой. О него и разбиваются все усилия чертей («бабенок всяких ряженных подпускают, вино наливают – сбивают с толку»), до тех пор пока Иван-дурак (которому черти пообещали помочь добыть справку о том, что он умный) не посоветовал им исполнить родную песню стражника – «По диким степям Забайкалья». «Здесь надо ... погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу ... Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином – в любви, в сострадании ... Стражник прислонил копьё к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами; он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем... А в пустые ворота пошли черти» [Шукшин 1980: 458-459]. И Мудрец, к которому (опять же с помощью чертей) попадает на прием Иван, «важно и

взволнованно» комментирует: «Очевидно, следует говорить не о моде, а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали...» [Шукшин 1980: 463]. Впрочем, как и во всех других случаях, его велеречивые рассуждения весьма слабо связаны с реальностью и совершенно не влияют на ход событий. В итоге же дьявольски хитрой операции черти, изгнав монахов, устраивают по монастырскому двору нескончаемый «развеселый бесовский ход: черти шли процессией и пели с приплясом ... Ивану стало жалко монахов. Но, когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько – в основном пожилые – сидели в горестных позах на земле и покачивали головами... , но вот диковина: хоть и грустно они покачивали, а всё же – в такт. Да и сам Иван – постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил» [Шукшин 1980: 472]⁹. Монахам же, приуговотившимся было «укрепиться и терпеть», триумфаторы предлагают напоследок писать их (чертей) на иконах, пообещав прилично заплатить. После робкой попытки сопротивления монахов торжествующие черти заявляют: «Какие вы всё же ... грубые ... Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас ... Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся» [Шукшин 1980: 474].

Представляется возможным интерпретировать этот микросюжет следующим образом. Агрессор, учитывая высокий оборонительный потенциал противника (в том числе и его испытанное моральное превосходство), с помощью наемного эксперта-аналитика из числа туземцев, хорошо владеющего стратегически важной информацией о ментальности жертвы, применяет манипулятивную операцию (с использованием культурных артефактов: продукции шоу-бизнеса, СМИ и т. п.). В результате естественный иммунитет атакуемой системы, прежде всего в лице её т. н.

⁹ Ср.: «А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не смели раскрывать, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать» [Достоевский 1957, 7: 481].

силовых структур, резко падает: агрессор в её глазах предстаёт ближайшим союзником, глашатаем и носителем «общечеловеческих ценностей»; жертва совершенно утрачивает адекватное представление о реальности, а идеологическое обеспечение подвергшихся нападению неудовлетворительно – кроме того, ответственные за это обеспечение духовно слабы и склонны к компромиссу с противником (хотя бы в целях сохранения собственного привилегированного статуса). Таким образом, агрессор получает в полное распоряжение вожделенную территорию (со всем, что на ней находится), бывшие исконные обитатели которой уже не только смирились со своим поражением, но, по существу, внутренне готовы стать отступниками и коллаборационистами – тем более, что пропагандистская обработка их не прекращается, – в духе воспитания толерантности к оккупантам.

Считают, что «великая заслуга нынешних властителей Америки состоит в том, что они, оскотинив и опустив обывателей, смогли построить сверхэффективную информационную экономику и навязать свою картину мира остальным землянам» [Калашников 2007: 265]. Между тем, понятно, чем чревата пассивность тех, кто находится в позиции лишь получателей сообщения (в широком смысле слова): «Тенденция к умственному потребительству составляет опасную сторону культуры, односторонне ориентированной на получение информации извне» [Лотман 1996: 45]. Неудивительна поразившая Россию эпидемия «клинической америкофилии»: это выражение М. Леонтьева вряд ли можно оценивать лишь как публицистическую гиперболу¹⁰.

В общем-то, с точки зрения межгосударственных отношений, информационная война между странами, как и «обычная», – лишь продолжение внешнеполитических конкурентных отношений иными средствами. Однако подобные манипулятивные операции проводятся и в качестве обеспечения внутривнутриполитических потребностей власти, в том числе – и тогда, когда эта власть более склонна к защите интересов иных

¹⁰ Ср. более ранние квалификации: «... российское телевидение, страдающее патологической западофилией» – и: «маниакальная западофилия российских либералов» [Поляков 2005: 306, 380].

государств, меж(над)государственных образований, транснациональных корпораций, олигархических группировок и т. п., нежели своего народа. «СМИ уже являются классическим информационным оружием, принадлежащим тому, кто платит, и применяется для управления собственным народом по заказу» [Расторгуев 2003: 163].

Информационное оружие «в первую очередь действует на систему управления, не столько уничтожая, сколько подчиняя себе систему управления пораженного объекта... ..Управление пораженной системой осуществляется с помощью скрытого и явного информационного воздействия на систему как извне, так и изнутри. Цель этого воздействия – целенаправленное изменение поведения системы» [Расторгуев 2003: 269].

Неудивительно, в конечном счете, что у такого известного специалиста по массовой коммуникации и связанным с ней вопросам, как М. Маклюэн, были достаточные основания заявить: «Воспитание, как оно видится в идеале, представляет собой гражданскую оборону от радиоактивных осадков средств массовой информации» (цит. по [Комлев 2003: 206]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Игры в слова – неотъемлемая часть жизнедеятельности любого социума. Возникшая, по-видимому, одновременно с ним, эта игра продолжается постоянно, приобретая всё новые облики как за счет смены идеологических ориентиров и сопутствующего ранжирования участников аксиологической шкалы, так и за счет технических модификаций средств, с помощью которых передается и хранится информация.

В основе многих манипулятивных операций, служащих для управления индивидуальным и общественным сознанием, лежат имманентные свойства слова как единицы языка. Например, номинативная функция, которая может применяться при назывании не только отвлеченных понятий, но и при именовании тех, что заведомо отсутствуют в реальности. Этому же способствует семантическая диффузность многих слов, которая оказывается необходимым компонентом формирования их новых значений в зависимости от контекста употребления. Подобным образом формируются коннотации, позволяющие экспрессивно расцвечивать дискурс, внося в него эмоционально-оценочные обертоны. Всё это делает слово незаменимым инструментом игр, нацеленных на психику людей и, соответственно,

управление их сознанием – даже в случаях отсутствия слова (высказывания) как такового (то есть в ситуациях возникновения нулевого знака), или умолчания.

Игры в слова ведутся по определенным правилам либо с нарушениям таковых, что, приобретая устойчивый характер, становится узуальным явлением, почти своеобразным правилом.

Чрезвычайно значимой оказывается роль адресата, далеко не всегда способного (или желающего) распознать интенции высказываний адресанта, а потому становящегося идеальным объектом вербальных манипуляций. В этих случаях они становятся чрезвычайно успешными: адресат, предпочитающий веру в мифы познанию реальности, занимает позицию абсолютно пассивного потребителя информации, не вдаваясь в оценку степени её истинности.

С помощью современных технических средств мифотворчество приобретает весьма высокую эффективность: производителям мифов удаётся синхронное воздействие на сознание десятков миллионов людей, а следовательно – и программирование их поведения в различных ситуациях. Так с применением мнимой свободы слова происходит образование легко управляемых виртуальных толп.

Информационная война совсем не обязательно обращена вовне: она может вестись (а зачастую – и ведется) властителями, официальными или теневыми, против собственного народа.

Поэтому исследования манипулятивных игр в слова неизменно сохраняют свою актуальность.

БИБЛИОГРАФИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Апресян Ю.Д. Проблема фактивности: *знать* и его синонимы // Вопросы языкознания. – 1995. № 4. – С. 43-63.

Астахина Л.Ю. Слово и его источники. Русская историческая лексикология: источниковедческий аспект. – М., МГУП. – 2006. – 368 с.

Атаева Е.В. Языковая динамика и проблемы формирования речевой культуры в постсоветском обществе // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе. Вып. II. Ч. I. – Луганск-Цюрих-Женева. 2001. – С. 120-127.

Базылев В.Н. Политический дискурс в России // Известия УрГПУ. Лингвистика. – Вып. 15. Екатеринбург, 2005. – С. 5-32.

Баранников А. Из наблюдений над развитием русского языка в последние годы // Уч. зап. Самарского ун-та. Вып. 2-й. Самара, 1919. С. 64-80.

Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 250-296 [Бахтин 1986а].

Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. С. 297-325 [Бахтин 1986б].

Береговская Э.М. Молодёжный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. – 1996. № 3. – С. 32-41.

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 480 с.

Бодуэн де Куртенэ И. А. «Блатная музыка» В.Ф. Трахтенберга // Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. – М., 1963.

– С. 161-162.

Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. М., 1987.

Бринёв К.И. Манипулятивное функционирование языка в юрислингвистическом и собственно лингвистическом аспектах // Юрислингвистика-6: инвективное и манипулятивное функционирование языка. – Барнаул. АлтГУ. 2005. – С. 156-167.

Булгаков С.Н. Философия имени. Paris, 1953. 230 с.

Бураго Д.С. О современной стихотворной культуре // Язык и культура. 1-я Международная конференция. Киев, 1992. С. 149-150.

Быкова О.Н. Языковое манипулирование // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып. 1 (8). – Красноярск-Ачинск, 1999.

Васильев А.Д., Веренич Т.К. Динамика деэкзотизации заимствований в научно-лингвистическом и обыденном языковом сознании. – Красноярск, 2005. 248 с.

Васильев А.Д. Российская языковая политика 1991-2005 гг. Красноярск, 2008. 176 с.

Васильев А.Д. Слово в российском телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления. – М., Флинта-Наука. – 2003. 224 с.

Васильев А.Д. Современное российское языковое законодательство. – Красноярск, 2007. – 152 с.

Витгенштейн Л. Философские представления // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М., 1985.

Волков А.А. Филология и риторика массовой информации // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М., 2003. – С. 50-65.

Гируцкий А.А. Тайна имени. – Мн., 1996. – 128 с.

Голев Н.Д. Самоопределение юридической лингвистики в России // Юрислингвистика-8: Русский язык и современное российское право. – Кемерово-Барнаул. Изд. АлтГУ. 2007. – С. 7-13.

Горбаневский М.В. В начале было слово ... – М., УДН, 1991. – 256 с.

Грачев М.А. Арго и менталитет русских деклассированных элементов // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики. – Екатеринбург, 1995. – С. 40-41.

Грачев М.А. Место арготического слова в мировоззрении деклассированных элементов // Языковая семантика и образ мира. Кн. 1. – Казань, 1997. – С. 109-110.

Григорьев А.Б. Утешение филологией // Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. – М., 1998. – С. 365-376.

Гридина Т.А. Механизмы языковой игры и языковая вариативность в культурно-речевых аспектах // Русский язык в контексте современной культуры. – Екатеринбург, 1998. – С. 36-37.

Губаева Т.В. Язык и право. – М., 2004. – 160 с.

Губогло М.Н. Представления о толерантности и толерантность представлений // Мир русского слова. – 2002. – № 2. – С. 28-36.

Данилов С.Ю. Речевой жанр молчания как источник

культурологической информации // Русский язык в контексте современной культуры. – Екатеринбург, 1998. – С. 40-41.

Дашкова Т.Ю. О некоторых особенностях языка постмодернистских произведений // Язык и культура. Киев, 1992. С. 141-142.

Дмитриев А.Н. Русская душа, русская идея и общественное бессознательное // Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем. – Самара, 1994. – С. 11-13.

Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973. 287 с.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции. М., 1996.

Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990.

Евнин Ф.И. Примечания // Достоевский Ф.М. Бесы / Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 10 т. Т. 7. М., 1957. С. 707-757.

Елизаветина Г. Н.П. Огарёв // Огарёв Н.П. Избранное. – М., 1977. – С. 3-20.

Земская Е.А. Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества // Вопросы языкознания. 1996. № 3. С. 23-31.

Зирка В.В. Рекламный текст: манипулятивная игра с эмоциями // Поліетнічне середовище: культура, політика, освіта. Т. 1. Луганськ, 2004. С. 134-140.

Калашников М. Вперёд, в СССР-2. М., 2003.

Калашников М. Крещение огнём. М., 2007.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2002.

Клушина Н.И. Общие особенности публицистического стиля // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М., 2003. – С. 269-289.

Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова ...». – СПб., 1999. – 368 с.

Колесов В. В. Ментальные характеристики русского слова в языке и в философской интуиции // Язык и этнический менталитет. Петрозаводск, 1995. С. 13-24.

Колесов В.В. Общие понятия исторической стилистики / Историческая стилистика русского языка. – Петрозаводск, 1990. С. 16-36.

Колесов В.В. Язык и ментальность. – СПб., 2004. – 240 с. [Колесов 2004в].

Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М., 1990.

Комлев Н.Г. Слово в речи. Денотативные аспекты. 2-е изд. – М., 2003. – 216 с.

Коньков В.И. СМИ как речевая система // Мир русского слова. – 2002. – №. 5. – С. 75-80.

Корованенко Т.А. Источники Нового академического словаря // Очередные задачи русской академической лексикографии. – СПб., 1995. – С. 31-43.

Костомаров В.Г. Наш язык в действии. Очерки современной стилистики. М., 2005.

Костомаров В.Г. Перестройка и русский язык // Русская речь. – 1987. –

С. 3-11.

Котелова Н.З. Искусственный семантический язык (теоретические предпосылки) // Вопросы языкознания. – 1974. № 5. С. 48-63.

Кузьмина Н.А., Терских М.В. Реклама пищевых продуктов: концептосфера и способы вербализации // Известия УрГПУ. Лингвистика. Вып. 15. – Екатеринбург, 2005. – С. 168-181.

Кукаркин А.В. По ту сторону расцвета. Буржуазное общество: культура и идеология. – М., 1974. – 558 с.

Купина Н.А. Тоталитарный язык. Словарь и речевые реакции. Екатеринбург-Пермь, 1995.

Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века. – М., 1981.

Леонтьев А.А. Психолингвистические особенности языка СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М., 2003. – С. 66-88.

Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. С. 23-192.

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. 464 с.

Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л., 1983. – 416 с.

Любимова А.А. Рождественские чтения. Prokimen.ru. С. 10-11. 2005.

Макьявелли Н. Государь // Жизнь Никколо Макьявелли. –СПб., 1993. – С. 246-316.

Маркович Дж. Социальная экология. – М., 1991.

Матвеева Г.Г. Актуализация прагматического аспекта научного текста. Ростов-на-Дону, 1984.

Мельник Г.С. Mass Media: Психологические процессы и эффекты. СПб., 1996.

Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Вместо предисловия // Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. – СПб., 1998. С. 5-21.

Мокиенко В.М. Субстандартная фразеология русского языка и некоторые проблемы её лингвистического изучения // Динамика русского слова. – СПб., 1994. – С. 154-172.

Музалевский Е.М. Социальная роль российских СМИ до и после отмены цензуры // Цензура как социокультурный феномен. Саратов, 2007. С. 282-292.

Мурзин Л.Н. О степенях свободы языка // Русское слово в языке, тексте и культурной среде. Екатеринбург, 1997. С. 127-133.

Нескрябина О.Ф. Философская культура медиадискурса // Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика. Красноярск, 2007. С. 108-114.

Ниринг С. Свобода: обещание и угроза. М., 1966.

Ножин Е.А. Проблема определения массовой коммуникации // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М., 1974. С. 5-10.

Норман Б. Ю. Лексические фантомы с точки зрения лингвистики и культурологии // Язык и культура. – Киев., 1994. – С. 53-60.

Осипов Б.И. Речевая манипуляция и речевое мошенничество: сходство и различие // Юрислингвистика-8: Русский язык и современное российское право. – Кемерово, Барнаул, 2007. – С. 216-221.

Осипов Б.И. Речевое мошенничество – вид уголовного преступления? // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии. – Барнаул, 2000. – С. 207-212.

Панькин В.М., Филиппов А.В. Вместо Введения к «Контактологическому словарю» // Современные проблемы лексикографии. – Харьков, 1992. – С. 30-33.

Перцев А.В. Современный миропорядок и философия толерантности // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003. – С. 25-48.

Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.

Пикулева Ю.Б. Современная телевизионная реклама как источник прецедентных текстов // Русский язык в контексте современной культуры. Екатеринбург, 1998. С. 111-112.

Поливанов Е.Д. Задачи социальной диалектологии русского языка // Е.Д. Поливанов и его идеи в современном освещении. – Смоленск, 2001. – С. 312-331 [Поливанов 2001а].

Попова Е.С. Лингвокультурологический аспект проблемы нормы в рекламном тексте // Русский язык в контексте мировой культуры. Екатеринбург, 1998. С. 114-115.

Поршнев Б.Ф. Противопоставление как компонент этнического самосознания. М. 1973.

Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. Изд. 2-е. М., 1979.

Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 35-220 [Потебня 1976а].

Расторгуев С.П. Философия информационной войны. – М., 2003. – 496 с.

Романенко А.П. Образ ратора в советской словесной культуре. – М., 2003. – 432 с.

Руделев В.Г. Слово // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1. Ч. 1. – Харьков, 1991. – С. 70-72.

Руденко Д.И., Загурская Н.В. Постпостмодерн как лингвофилософская проблема // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе. – Луганск, 2000. – С. 59-77.

Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М., 2002. – 552 с.

Секретарёва Е.В. Суггестивное воздействие в текстах массовой коммуникации // Юрислингвистика-8: Русский язык и современное российское право. Кемерово-Барнаул, 2007. С. 267-276.

Семенюк О.А. Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте. – Кировоград, 2001. – 368 с.

Синельникова Л.Н. «Гул языка»: о процессуальности бытия вербальной сферы // Структура и содержание связей с общественностью в современном

мире. Вып. III. Луганск-Цюрих-Женева. 2002. С. 186-195.

Синельникова Л.Н. Языковые симулякры как материализованная энтропия, или В мире заблуждений // Структура представления знаний про світ, суспільство, людину: у пошуках нових змістів. Т. 1. – Луганськ, 2003. – С. 216-229.

Сковородников А.П. Умолчание // Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник. С. 725-727.

Сковородников А.П. Языковая игра // Культура русской речи. М., 2003. С. 796-803.

Сметанина С.И. Стиль жизни в стиле журналистики // Мир русского слова. 2002. № 5. С. 92-97.

Смирнов А. Послесловие к «Как вам это понравится» // Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8 т. Т. 5. М., 1959. С. 595-600.

Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913.

Соболева И.А. Языковая игра как одна из форм жизни современного социума (в свете социолингвистики и теории коммуникации) // Структура представления знаний про світ, суспільство, людину: у пошуках нових змістів. Т. 1. Луганськ, 2003. С. 230-239.

Солганик Г.Я. О закономерностях развития языка газеты в XX в. // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2002. № 2.

Солганик Г.Я. О языке и стиле газеты // Язык СМИ. М., 2003. С. 261-268.

Тарасов Е.Ф. Социально-психолингвистические аспекты этнопсихолингвистики // Национально-культурная специфика речевого поведения. – М., 1977. С. 38-54.

Теплинский М.В. Можно ли жить без литературы? Современные проблемы школьного литературного образования // Структура и содержание связей с общественностью в современном мире. Вып. 3. – Луганск, 2002. – С. 369-381.

Трубачёв О.Н. Заветное слово. Взгляд лексикографа на проблемы языкового единства славян. – М., 2004. – 224 с.

Трубачёв О.Н. /О состоянии русского языка // Русская речь. – 1992. – № 5. С. 43-44.

Трубачёв О.Н. Этимология и славянская пракультура // Всесоюзная конференция «Методология и методика историко-словарных исследований, историческое изучение славянских языков, славянской письменности и культуры». – Л., 1988. – С. 9-10.

Ульянская О.Б. Рекламолект в социокультурной дифференциации языка // Седьмые Поливановские чтения. Ч. 1. – Смоленск, 2005. – С. 94-98.

Успенский Б.А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. Изд. 2-е. – М., 1996. – С. 67-161.

Филин Ф.П. Историческая лексикология русского языка. Проспект. – М., 1984. – 176 с.

Флоренский П. Столп и утверждение истины / Флоренский П.

Собрание сочинений. Т. IV. – Paris, 1989.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1983. – 703 с.

Хэйзинга Й. Homo ludens: Статьи по истории культуры. – М., 1997. – 416 с.

Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991-2000). – 2-е изд. Екатеринбург, 2003. – 238 с.

Шунейко А.А. Лакуна и нулевой знак (семиотический аспект) // Лакуны в языке и речи. Вып. 2. Благовещенск, 2005. С. 86-95.

Юнг К.Г. Настоящее и будущее / Юнг К.Г. Божественный ребёнок. М., 1997. С. 177-247.

Jadacki J.J. Słowa-upiory: o potrzebie dezideologizacji wydawnictw stownikowych // Vocabulum et vocabularium. Вып. 1. – Харьков, 1994. – С. 128-134.

Timroth W. von . Russian argo, iargon, slang and mat // Slavistische Beitrage. Band. 205, 1986.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ И КАРТОТЕКИ

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. М., 1986.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. Т. 1-4. М., 1955 [Даль 1955].

Душенко К.В. Словарь современных цитат. 4-е изд. М., 2006.

Словарь иностранных слов. Изд. 7-е. М., 1979.

Словарь русского языка в 4-х т. Изд. 2-е. М., 1981-1984 гг. [МАС₂].

Советский энциклопедический словарь. 2-е изд. М, 1983.

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. М., 2001 [ТССРЯ].

Толковый словарь русского языка начала XX века. Актуальная лексика / Под ред. Г.Н. Скляревской. М., 2007 [ТСРЯ 2007].

Фразеологический словарь русского литературного языка. В 2-х т. / Сост. А.И. Фёдоров. Новосибирск, 1995.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

- Альперина С., Кришевский А., Васянин А., Дворак М. Герой на все времена // Российская газета-неделя. № 125. 09.08.09. С. 25.
- Астафьев В.П. Последний поклон. Красноярск, 1978.
- Блок А.А. Ирония // Блок А.А. Соч. В 2-х т. Т. II. – М., 1955. – С. 80-84.
- Блок А.А. Народ и интеллигенция // Блок А.А. Соч. В 2-х т. Т. II. – М., 1955. – С. 85-91.
- Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту // Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту. Марсианские хроники. – М., 1992. – С. 3-140.
- Булгаков М.А. Самоцветный быт // Набоков В.В. Собр. соч. В 5-ти т. Т. 2. – М., 1989. – С. 316-320.
- Бунин И.А. Освобождение Толстого // Бунин И.А. Собр. соч. В 6-и т. Т. 6. – М., 1988. – С. 5-145.
- Бушков А. Стервятник. М., 1996.
- Во И. Возвращение в Брайдсхед // Во И. Избранное. – М., 1974. – С. 188-500.
- Выжutowич В. Путешествие из Ленинграда в Петербург // Российская газета-неделя. № 162. 31.07.08. С. 20-21.
- Гарднер Дж. Осенний свет. М., 1981.
- Гёте И.Ф. Венецианские эпиграммы // Гёте И.В. Избранные стихотворения и проза. Петрозаводск, 1987.
- Гоголь Н.В. Вий // Гоголь Н.В. Собр. соч. В 6-ти т. Т. 2. – М., 1952. – С. 153-192.
- Гоголь Н.В. Мёртвые души. К., 1956.
- Гоголь Н.В. Ревизор. М., 1966.
- Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер // Гофман Э.Т.А. Новеллы. М., 1991. С. 221-320.
- Гречко В.А. Чёрная стихия // Советская Россия. 29.10.09.
- Долгополов Н. Корректор обязан молчать // Российская газета-неделя. № 137. 24.06.10. С. 26.
- Достоевский Ф.М. Подросток // Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 10-и т. Т. 8. М., 1957.
- Есин С.Н. На рубеже веков. Дневник ректора. М., 2002.
- Ключевский В.О. Дневники и дневниковые записи // Ключевский В.О. Соч. В 9-ти т. Т. IX. М., 1990.
- Кротков Б. «Я принимал у агента присягу на верность фюреру» // Российская газета-неделя. № 191. 31.08.07. С. 8-9.
- Ле Карре Дж. Убийство по-джентльменски // Мастера детектива. Вып. I. – М., 1989. – С. 199-322.
- Лермонтов М.Ю. Есть речи ... // Лермонтов М.Ю. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М., 1970. С. 342.
- Лимонов Э. Иностранец в смутное время // Лимонов Э. Иностранец в смутное время. Это я – Эдичка. Омск, 1992. С. 7-253.
- Моруа А. Открытое письмо молодому человеку о науке жить // Моруа А. Семейный круг. Новеллы. Письма незнакомке. Открытое письмо молодому человеку. Афоризмы. М., 1989. С. 509-574.

- Набоков В.В. Дар // Набоков В.В. Собр. соч. в 4-х т. Т. 3. М., 1990. С. 3-330.
- Нилин П.Ф. Испытательный срок // Нилин П.Ф. Жестокость. Испытательный срок. – М., 1990. – С. 382-533.
- Овчинников В. Водами Юга – напоить Север // Российская газета-неделя. № 201. 22.10.09. С. 17.
- Овчинников В. Повелитель водной стихии // Российская газета-неделя. № 187. 04.09.08. С. 13.
- Оруэлл Дж. Англичане // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 309-341 [Оруэлл 1989б].
- Пелевин В. Generation «П». М., 1999.
- Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. М., 2003.
- Поляков Ю.М. Порнократия. М., 2005.
- Поучение гераклеопольского царя, имя которого не сохранилось, своему наследнику, Мерикаре // Повесть Петеисе III. М., 1978. С. 207-218.
- Прутков Козьма. Сочинения. М., 1976.
- Пушкин А.С. Борис Годунов [Сцены, исключённые из печатной редакции] // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. V. Л., 1978. С. 281-285.
- Пушкин А.С. Борис Годунов // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. V. Л., 1978. С. 187-280.
- Пушкин А.С. Герой // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. III. Л., 1977. С. 187-189.
- Пушкин А.С. Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. VII. Л., 1978. С. 137-144.
- Пушкин А.С. Признание // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. II. Л., 1977. С. 302-303.
- Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. VII. Л., 1978. С. 184-210.
- Свифт Дж. Путешествия Гулливера. М., 1989.
- Сегень А.Ю. Тридцать три удовольствия. М., 1994.
- Семёнов Ю. Семнадцать мгновений весны. М., 1985.
- Твен М. Приключения Гекльберри Финна. М., 1978.
- Твен М. Приключения Тома Сойера. М., 1978.
- Толкиен Дж. Р.Р. Хранители. М., 1982.
- Толстой А.К. Сон Попова // Толстой А.К. Соч. В 2-х т. Т. I. С. 292-303.
- Толстой А.Н. Хождение по мукам. Тт. 1-2. Челябинск, 1982.
- Толстой Л.Н. Война и мир // Толстой Л.Н. Собр. соч. В 22-х т. Тт. IV-VII. М., 1979-1981.
- Тэффи. Авантюрный роман // Тэффи. Всё о любви. М., 1991. С. 331-428.
- Хлебников В. «О стихах» // Хлебников Велимир. Творения. М., 1986. С. 633-635.
- Хлебников В. Зангези // Хлебников Велимир. Творения. М., 1986. С. 473-504.

Чехов А.П. Психопаты // Чехов А.П. Собр. соч. В 12-ти т. Т. 3. С. 446-450.

Чехов А.П. Ряженые // Чехов А.П. Собр. соч. В 12-ти т. Т. 2. С. 8-10.

Чигишев Ю. Куда ушли люди? // Городские новости. № 168. 15.11.07. С. 3. (текст интервью с председателем Союза журналистов России В. Богдановым даётся в ссылках как [Богданов 2007]).

Шекспир У. Гамлет, принц Датский // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8-и т. Т. 6. С. 3-157.

Шекспир У. Как вам это понравится // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8-и т. Т. 5. М., 1959 С. 5-112.

Шекспир У. Юлий Цезарь // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8-и т. Т. 5. М., 1959. С. 218-323.

Шукшин В.М. До третьих петухов // Шукшин В.М. Калина красная. Красноярск, 1980. С. 436-483.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Феномен игры.....	6
Игры в слова.....	12
Слово как инструмент игры.....	17
«Слово – полководец человеческой силы».....	26
Вербальная магия.....	34
Без слов.....	39
Слово и миф.....	43
Правила игры.....	47
Аспекты манипуляции.....	56
Манипуляции словом.....	62
Роль адресата манипуляции.....	72
Вера – катализатор манипуляции.....	78
Запретные плоды пропаганды.....	83
Похвальное слово телевидению.....	90
Торжество иронизации.....	102
Игры в раскрепощенное слово.....	116
Импорт лексики – импорт мировидения.....	127
Игрища журналистов.....	131
Информационная война.....	136
Заключение.....	148
Библиография.....	150